FERNANDO PESSOA

O BANQUEIRO ANARQUISTA E OUTROS CONTOS

ФЕРНАНДУ ПЕССОА

БАНКИР-АНАРХИСТ И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

FERNANDO PESSOA

O BANQUEIRO ANARQUISTA E OUTROS CONTOS

БАНКИР-АНАРХИСТ И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

ФЕРНАНДУ ПЕССОА

ЦЕНТР КНИГИ РУДОМИНО

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Фернанду Пессоа (1888–19353 достаточно давно известен отечественному читателю как поэт. Первые переводы его стихотворений на русский язык появились в 1970-е годы, сначала их было немного, затем накопился достаточный объем для первого отдельного издания, которое вышло в свет в 1978 году. Позднее появилось еще несколько изданий, но ни в одном из них не была представлена проза поэта, которая занимает существенное место в его наследии и с точки зрения количественной, и с точки зрения литературного качества и значимости. Эта книга — первый опыт издания прозаических произведений Ф. Пессоа в переводе на русский язык.

- Фернанду Пессоа
  -
  - Литературные перевоплощения
  - БАНКИР-АНАРХИСТ И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ
    - Банкир-анархист
    - Декоративная хроника I
    - Декоративная хроника II
    - Шелковая роза
    - ООО Фирма, поставляющая мифы
    - Филателист
    - Автомобиль стал исчезать
    - Великий португалец,
    - Мужья
    - Басни для юных народов
      - Секрет Рима
      - Сарайва, или Сарайва и барышни
      - Я, доктор
      - Осел и два берега
      - Суареш и Перейра
      - Христианин и католик
      - Попугай
      - Торговка рыбой и логика
  - Fernando Pessoa
    - O banqueiro anarquista
    - Crónica decorativa I
    - Crónica decorativa II
    - A rosa de seda
    - Empresa fornecedora de mitos, Ida
    - O filatelista

        - O automóvel ia desaparecendo
        - Um grande português ou A origem do conto do vigário
        - Maridos
        - Fábulas para as Nações Jovens
            - O segredo de Roma
            - O Saraiva ou o Saraiva e as meninas
            - Eu, o doutor
            - O burro e as duas margens
            - O Soares e o Pereira
            - O cristão e o católico
            - O papagaio
            - A varina e a lógica
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15

FERNANDO PESSOA

O BANQUEIRO ANARQUISTA E OUTROS CONTOS

БАНКИР-АНАРХИСТ И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

ФЕРНАНДУ ПЕССОА

FERNANDO PESSOA

O BANQUEIRO ANARQUISTA E OUTROS CONTOS

ФЕРНАНДУ ПЕССОА

БАНКИР-АНАРХИСТ И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

Фернанду Пессоа

Литературные перевоплощения

Едва ли найдется человек, который сумеет провести в Лиссабоне больше одного дня и при этом ни разу не услышит имени Фернанду Пессоа. И даже если по какой-то причине, что маловероятно, вы этого имени не услышите, не увидеть изображений того, кому оно принадлежит, почти невозможно. На чашках, брелоках, открытках из дубовой коры и на обычных

бумажных открытках, на улице — в виде бронзовой фигуры, где-нибудь еще — вы непременно встретитесь с несколько причудливого вида господином, в круглых очках и в шляпе. За последние полвека Пессоа, преодолев границы истории литературы, стал для португальцев национальным символом, персонажем народной мифологии новейшего времени. Но для постороннего, иностранного, и в особенности русского взгляда столь широкая популярность Пессоа, вероятнее всего, покажется несколько странной.

Сложно сказать, насколько корректным будет подобное сопоставление, но, на мой взгляд, оно имеет право на существование: Федерико Гарсиа Лорка и Фернанду Пессоа. Насколько первый был солнечным, радостным, *приветливым* гением, очевидным в проявлениях любви, дружбы и обиды, настолько второй был туманным, неясным, неразгаданным, необъяснимым.

Все эти определения во многом относятся не только к образам, но и к биографиям великих пиренейских поэтов минувшего столетия. Лорка — блиставший уже при жизни, не только на родине, но и за рубежом, Пессоа — почти никому не известный даже в родной Португалии. Жизнь, полная приключений, путешествий, искрометных знакомств, дружбы и вражды с другими великими и всемирно известными испанцами — это Лорка. Предельно замкнутое существование скромного переводчика коммерческой корреспонденции, литературный гений которого был известен лишь узкому кругу писателей-модернистов и ценителей новейшей литературы — это Пессоа. Разница настолько очевидна, что при полном отсутствии необходимости даже в самом ненаучном издании знакомить читателей с биографией испанского поэта, о биографии португальца необходимо, думается, сказать хотя бы несколько слов.

Фернанду Пессоа (1888–1935) родился в Лиссабоне. О ранней поре его жизни известно немногое, но то, что все-таки известно, может, вероятно, хотя бы отчасти приоткрыть тайну его «духовного портрета», *смутную* «генеалогию» личности.

В 1893 году умирает отец Фернанду, в том же году умирает младший брат, и еще через два года мать будущего поэта вторично выходит замуж. Это событие стало во многом определяющим в жизни Пессоа, поскольку за ним последовал переезд всей семьи в Южную Африку, где отчим Фернанду служил в должности консула. Детство и отрочество, проведенные в среде английского языка (Южная Африка была в то время колонией Великобритании), впоследствии принесли важные

литературные плоды — значительная часть наследия Фернанду Пессоа написана на английском языке, а из числа изданных при жизни произведений англоязычные составляют большинство.

В 1905 году Пессоа возвращается в Лиссабон. И на этом, можно сказать, заканчивается его биография, если понимать последнюю, как совокупность сколько-нибудь существенных и заметных жизненных обстоятельств. После этого события — все прочие были уже в той или степени литературны: и недолгое пребывание в университете, в котором Пессоа не проучился даже до конца первого академического года, и крайне неудачная попытка организовать собственную типографию, которая прогорела, едва успев открыться, и первые выступления в модернистской периодике, которые принесли автору некоторую известность, пусть и в достаточно узкой сфере. Все это уже в той или степени связано с литературой. Даже профессия, ремесло, которым Пессоа зарабатывал себе на жизнь, тоже было связано со словом — до конца жизни он работал переводчиком коммерческой корреспонденции. Вне литературы, кажется, жизнь Пессоа настолько неинтересна, что описание ее имеет значение лишь для исследователей, и то интерес этот едва ли когда-нибудь был или будет самостоятельным, и если о жизни поэта в данном случае и стоит что-либо знать, то лишь затем, чтобы правильно датировать тот или иной фрагмент его почти *бесконечного* наследия, которое еще долгие годы будет оставаться не изученным с достаточной полнотой.

Наследие Пессоа — это не преувеличение — действительно огромно, и исследовано оно действительно еще далеко не во всей полноте. В этом тоже отразилось тотальная погруженность автора в собственное творчество, в создание бесчисленных миров, каждому из которых требовалась соответствующая форма. И так как внелитературной жизнью Пессоа, судя по всему, интересовался мало, литературные его миры чрезвычайно многочисленны и невероятно разнообразны. И парадоксальны.

Поэтому не стоит удивляться, например, тому, что Пессоа известен, прежде всего, как поэт, а самая знаменитая его книга — «Книга тревог» — это прозаическое произведение. Неудивительным также представляется и то, что самого себя автору для создания новых миров «не хватало», отчего многие его произведения не только подписаны другими именами, но действительно созданы словно бы другими людьми. Речь в данном случае идет о так называемых гетеронимах, вымышленных авторах, созданных фантазией Фернанду Пессоа. Их обязательно следует отличать от псевдонимов, которые есть всего лишь имя, в то время как гетеронимы — это именно

личности, у каждой из которых есть своя биография, свой характер, свой стиль. Поэтому, чтобы различить произведения, которые Пессоа писал от своего собственного лица, и произведения его гетеронимов, первые называют ортонимичными.

Наша книга представляет читателю именно такие — ортонимичные произведения — поэтому, вероятно, мы могли бы не говорить подробно о гетеронимах. Однако тема эта столь значительна и существенна для творчества Пессоа, что остановиться на ней все же следует.

Уже более полувека исследователи пристально изучают этот вопрос, пытаются определить характер гетеронимов, сосчитать их, понять, какой смысл сам автор вкладывал в создание того или иного персонажа. Тема эта одна из наиболее привлекательных для исследователей творчества Ф. Пессоа[1]. Поэтому о ней написано столько, что перечислить даже самые существенные работы, посвященные этой теме, в кратком очерке — невозможно. Но, к счастью, сам Пессоа предоставил нам альтернативу: незадолго до смерти в письме к своему знакомому Адолфу Казайш Мунтейру (впоследствии ставшему одним из первых исследователей творчества Пессоа) он сообщил следующее: «<…> в Каэйру я вложил все мои способности к драматургической деперсонализации, в Рикарду Рейша всю мою умственную дисциплину, облаченную своеобразной мелодией, в Алвару де Кампуша — все чувства, которых я не открываю ни жизни, ни самому себе»[2]. Итак, мы видим, что в единственной русскоязычной диссертации и монографии, посвященной Пессоа, проблема сформулирована верно: гетеронимы — это своего рода маски, персонифицированные эмоции, черты характера или состояния своего создателя. И в то же время нельзя остановиться только на этой формулировке. В том же письме Пессоа неоднократно указывал на то, что гетеронимы обладают высокой степенью автономности, являются полноценными личностями, в такой же степени, как и сам Пессоа, имеющими основания претендовать на статус реального человека. Более того — Пессоа даже не был уверен в том, что является в большей степени реальным, чем его гетеронимы. Как литературный феномен гетеронимы Пессоа чрезвычайно интересны, несмотря на то, что с точки зрения нормального человека иначе как странным все это, конечно, не назовешь. Однако в рамках личностной логики самого Пессоа такой взгляд на гетеронимы — вполне закономерен. Ведь столь же «странными» были и его отношения с реальными людьми в самом обыденном понимании этого слова. «Странными» были отношения с другом — поэтом Мариу Са-

Карнейру, покончившим жизнь самоубийством в Париже: из-за любви к проститутке. «Странной» была и собственная личная жизнь. Пессоа никогда не был женат, и, судя по всему, у него не было детей. С единственной женщиной, к которой он был привязан в течение долгого времени, Офелией Кейрош, его отношения были настолько запутанными и туманными, что характеризовать их определенным образом не представляется возможным. Отношения эти оставили потомкам объемный том интереснейшей переписки, к сожалению, пока на русский язык не переведенной.

* * *

Замысел сборника прозаических произведений Пессоа родился из того простого и достаточно грустного факта, что на сегодняшний день отечественный читатель с прозой этого автора совершенно не знаком. История русскоязычных изданий наследия Фернанду Пессоа вообще невелика и небогата, но если с поэзией этого автора мы все же достаточно давно могли познакомиться, не владея португальским языком, проза до настоящего времени оставалась для нас совершенно закрытой. Даже одно из наиболее известных во всем мире произведений Пессоа — «Книга тревог» до сих на русский язык не переведена.

В нашей книге читатель найдет малую прозу Пессоа: рассказы, действительно очень небольшие по объему, но также и достаточно обширные; басни; тексты, жанр которых определить без многочисленных оговорок — невозможно или, по крайней мере, весьма затруднительно. Как и во всех других формах творчества, к которым он был причастен, в малой прозе Пессоа — чрезвычайно разнообразен.

Многогранен Пессоа и в выборе (а подчас и создании) художественных средств и приемов, от классического лаконичного описания события до феерической радуги иносказаний, иронии, сарказма, а порой и абсурда. Поэтому дать обобщающую характеристику его малой прозе — чрезвычайно сложно. Для каждого произведения нужно искать свой ключ. В тех случаях, конечно, когда таковой вообще существует…

Еще одна особенность, на которую следует обратить внимание, состоит в том, что значительная часть наследия Фернанду Пессоа приходит к читателю не из «первых рук». Речь о том, что при жизни автор опубликовал всего несколько книг, очень небольших по объему. Еще некоторое количество произведений было опубликовано в периодических изданиях,

большинство же стихотворений, очерков, рассказов, заметок и эссе остались в рукописях, которые долгое время были никому или почти никому не известны. Поэтому многое было опубликовано лишь через несколько десятилетий после смерти автора, и «процессия» первых публикаций продолжается до сих пор. По этой же причине многое в том виде, в котором произведения доходят до читателя, зависит от исследователей и издателей.

Ситуация эта — амбивалентна. С одной стороны, в некоторых случаях перед нами предстает очевидно незаконченное произведение, фрагментарность которого не была частью изначального авторского замысла, но, с другой стороны, так нам открывается — пусть лишь в самой малой степени — не только результат авторской работы, но и творческий процесс, что само по себе весьма интересно и, несомненно, заслуживает внимания. Наконец, в таком положении вещей можно увидеть своего рода влияние творческой манеры автора на судьбу его произведений: недосказанность, столь часто свойственная и законченным произведениям Пессоа, естественным образом, сохранила свою печать и на тех текстах, которые сам автор опубликовать не успел.

Наконец, следует сказать еще несколько слов: о том, что стоит и чего не стоит ожидать от этой книги. Прежде всего, от нее не стоит ожидать всего того, что обычно ассоциируется с представлением о научном издании: развернутых подробных комментариев, многочисленных вариантов и редакций, детальной хронологии жизни автора. Всего этого в книге нет, потому что перед ней и не стоит никаких собственно научных задач. Единственная задача этой книги состоит в том, чтобы познакомить читателя с классиком португальской литературы, точнее, с одной из его ипостасей, которая прежде в нашей стране была совершенно неизвестна. В этом смысле мы продолжаем дело тех, кто — еще в Советском Союзе — опубликовал первые переводы поэтических произведений Пессоа. Поэтому можно сказать, что вернее всего было бы ожидать от этой книги нового знакомства со старым знакомым, тем более интересного, что на этот раз он окажется кем-то совсем другим, и совсем «не похожим на самого себя».

* * *

Наконец, завершая наше краткое введение, скажем несколько слов о том переводческо-издательском контексте, которому

принадлежит эта книга.

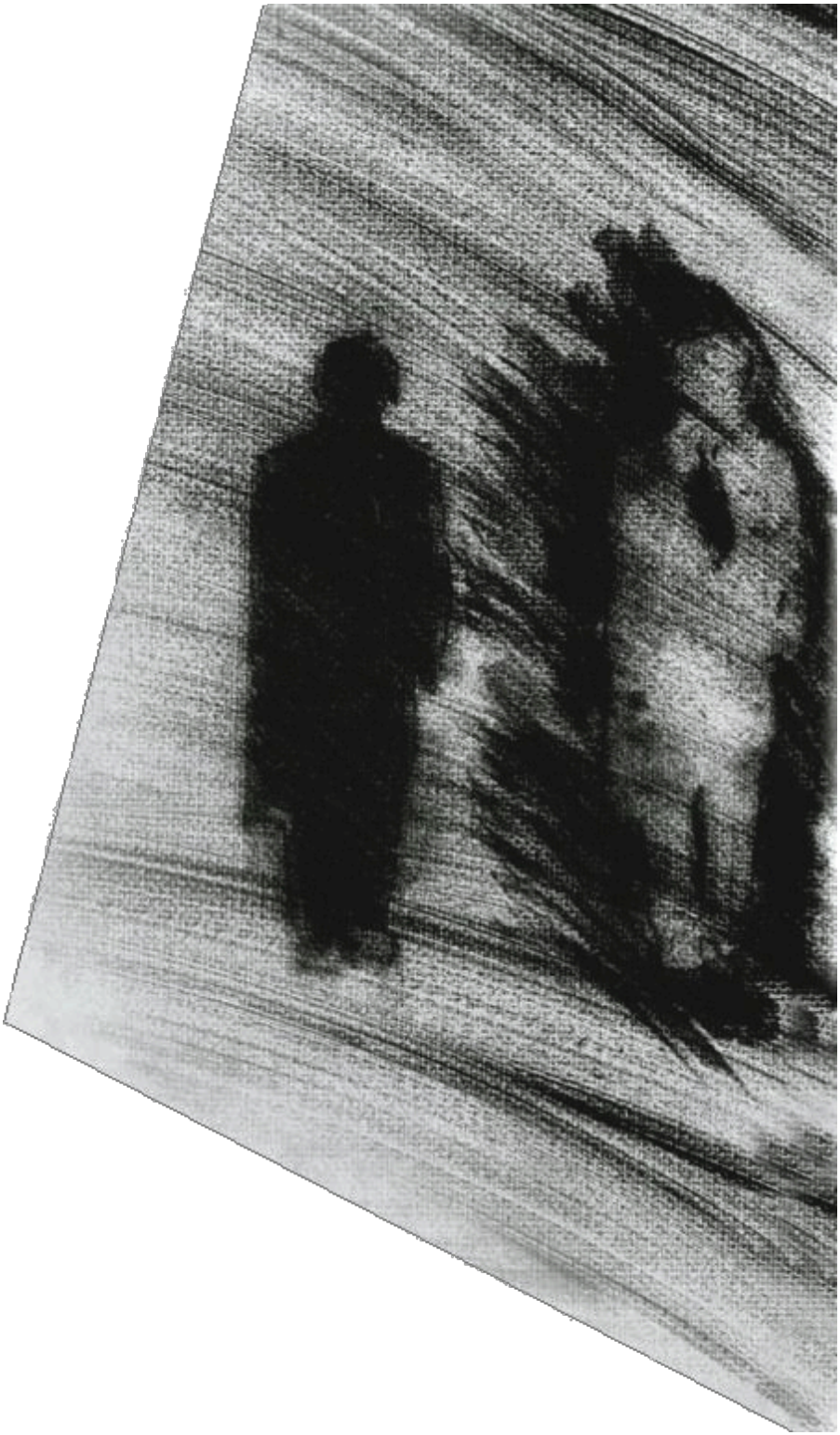
Первые переводы из Пессоа появились на русском языке в небольшой антологии «Португальская поэзия XX века», изданной вскоре после Революции гвоздик (1974)[3]. Конечно, выход этой книги имел определенную политическую обусловленность, которая, впрочем, нисколько не отменяет ценности ее появления и того, что благодаря ей отечественный читатель познакомился с целым рядом замечательных португальских поэтов, в том числе, с Фернанду Пессоа. Вслед за тем вышел небольшой сборник стихотворений Пессоа: первое отдельное русскоязычное издание его поэзии[4]. Это событие — весьма радостное и значительное — на определенном этапе могло бы, наверное, внушить оптимизм, еще более укрепленный следующим изданием, сравнительно большего объема, которое вышло одиннадцать лет спустя[5]. Однако, на этом советская традиция изданий поэзии Пессоа прекратилась и, судя по всему, не только потому, что прекратился сам Советский Союз. В последующее, уже российское, время по-русски вышла всего одна, очень небольшая, книга Пессоа — издание поэтического цикла «Послание»[6].

Таким образом, мы обозначили издательский контекст этой книги, а место ее и значение определит читатель.

АНТОН ЧЕРНОВ

БАНКИР-АНАРХИСТ И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

Банкир-анархист



За столом напротив меня сидел мой друг — преуспевающий

банкир и коммерсант. С отвлеченно-задумчивым видом он курил сигару. Мы только что закончили ужин, и я решил как-нибудь возобновить нашу беседу, которая постепенно и словно бы незаметно сошла на нет. И тут мне пришла на ум одна мысль. Я посмотрел на моего друга, и с улыбкой обратился к нему.

— Знаешь, тут мне недавно кто-то сказал, что когда-то ты был анархистом…

— Почему же был? Был и есть. В этом ничего не изменилось — я и сейчас анархист.

— Да брось! Ты — анархист! Это каким же образом?.. Ну, разве только, если ты вкладываешь в это слово какой-то особенный смысл…

— Особенный смысл? Нет, никакого особенного смысла здесь нет. Я анархист в самом обычном смысле этого слова.

— То есть, ты хочешь сказать, что ты такой же анархист, как все эти рабочие со своими партиями и профсоюзами? И между тобой и этими террористами и подпольщиками нет никакой разницы?

— Нет разницы? Разница, конечно, есть… Вне всяких сомнений. Но дело здесь обстоит совсем не так, как ты думаешь. Ты полагаешь, что разница в том, что мы по-разному трактуем теорию общественного строя, так?

— А, теперь понимаю! Что касается теории — ты анархист, а что касается практики…

— Что касается практики — я такой же анархист, как и в теории. Более того, на практике — я в гораздо большей степени анархист, чем все эти подпольщики, о которых ты говоришь. Вся моя жизнь свидетельствует об этом.

— Э… То есть?

— Вся моя жизнь доказывает это, мой дорогой друг. Просто ты никогда всерьез об этом не задумывался. Поэтому тебе и кажется, что я шучу. Ну, или несу всякий вздор.

— Тогда я вообще уже ничего не понимаю… Ну не может же быть, не может быть, что ты считаешь свою жизнь антисоциальной, как это и положено обычному анархисту…

— Постой. Я ведь уже сказал тебе, что никакого особенного смысла в слово «анархист» я не вкладываю. Так?

— Так… И я по-прежнему ничего не понимаю… Послушай, ты что — всерьез хочешь мне сказать, что нет никакого противоречия между твоими теориями и тем, как ты сейчас живешь? И ты хочешь, чтобы я поверил в то, что ты живешь так же, как все эти обычные анархисты?

— Нет, я хочу сказать не это. Я хочу сказать, что между моими теориями и моей жизнью нет никаких противоречий.

Напротив — абсолютное соответствие. То, что я не живу, как эти подпольщики и террористы, — это верно. Но ведь это именно они — не анархисты, это они не следуют своим идеям. А я следую. И это именно моя жизнь — жизнь банкира, коммерсанта, спекулянта, если угодно, сочетает в себе теорию и практику анархизма наилучшим образом. Ты сравнил меня с этими придурковатыми подпольщиками и террористами, чтобы показать, как я на них не похож. И верно: не похож — потому что они (да — они, а не я) анархисты только в теории, а я — и в теории, и в жизни. Они анархисты и при этом дураки, а я анархист, наделенный способностью мыслить. Поэтому, мой дорогой друг, именно я — истинный анархист. А все эти подпольщики — со своими профсоюзами и бомбами (и я когда-то был среди них, и ушел — именно потому, что считаю себя настоящим анархистом) — это всё отбросы великого учения, выродки анархизма.

— Ну, это уже вообще черт знает что! Как же прикажешь тебя понимать!? Каким образом ты сочетаешь свою жизнь — то, есть я хочу сказать, жизнь банкира и коммерсанта — с теориями анархистов? Как ты можешь это примирить, если не вкладываешь в слово «анархизм» никакого особенного смысла? И ты еще, кажется, что-то такое сказал… вроде того, что ты в гораздо большей степени анархист, чем все эти — обычные… так ведь?

— Именно так.

— Я ничего не понимаю.

— А ты пытаешься понять?

— Пытаюсь изо всех сил.

Он вынул изо рта погасшую сигару, снова закурил, сосредоточенно посмотрел на огонек догорающей спички, затем аккуратно положил ее в пепельницу, поднял на меня взгляд и сказал:

— Послушай. Я родился в простой рабочей семье. Поэтому, как ты понимаешь, никаких состояний и привилегий я не унаследовал. Единственное, что я получил при рождении — это живой ум и более или менее крепкую волю. Это я получил от природы, независимо от своего скромного происхождения.

Я был рабочим, жил в нищете — так же, как все остальные люди из этой среды. Пожалуй, я не могу сказать, что постоянно недоедал, но в общем-то был недалек от этого. Впрочем, не в этом и дело — голодал я или нет — это никак не объясняет ни того, что произошло потом, ни того, о чем я собираюсь рассказать, ни того, какой была моя жизнь, ни того, какой она стала.

Я был обычным рабочим, как все. Я работал потому, что должен был работать, и работал как можно меньше. Если я чем-то

и отличался от других, то только своим умом. Всегда, при любой возможности, я читал, размышлял, и поскольку не был дураком — проникся глубокой неприязнью к своему состоянию, ко всем этим социальным условиям, которые делали мою жизнь такой. Я уже говорил, что мое положение не было самым худшим. Могло бы быть и намного хуже. Но тогда мне казалось, что Судьба обрушила на меня всю мировую несправедливость, а орудием ей в этом служили социальные условности. Мне в то время было двадцать лет, может быть, двадцать один — не больше, и тогда я решил стать анархистом.

После этих слов он вдруг замолчал. Внимательно посмотрел на меня, и, немного наклонившись в мою сторону, снова заговорил:

— Я всегда отличался живым умом. И в то время чувствовал, как внутри у меня растет протест. И мне захотелось понять это чувство. И так — вполне сознательно — я стал убежденным анархистом, и также — вполне сознательно — остаюсь таковым и теперь.

— И теория твоя тоже с тех пор не изменилась?

— Не изменилась. Теория анархизма, настоящая теория анархизма, может быть только одна. И сейчас она для меня — такая же, какой была, когда я стал анархистом. Попробую объяснить… Я говорил уже, что поскольку природа одарила меня живым умом, анархистом я стал вполне сознательно. А теперь — кто же такой анархист? Анархист — это человек, восстающий против неравенства — социального неравенства, несправедливость которого мы испытываем с самого рождения. По существу, анархизм состоит именно в этом. И здесь — из этой несправедливости — рождается мятеж против социальных условностей, которые порождают неравенство. Всем этим я пытаюсь тебе объяснить психологию зарождения анархизма, то, как люди становятся анархистами. А теперь перейдем к теории. Попробуй понять, какой протест возник в сознании человека, наделенного умом и оказавшегося в таких условиях. Что он видит вокруг себя? Он видит, что один рождается сыном миллионера, с самого рождения защищенным от всех опасностей, которых можно избежать при помощи денег; а опасностей таких немало. Другой же рождается нищим, и с самого детства в своей семье он только лишний рот. Один рождается графом или маркизом, и поэтому к нему относятся с почтением, что бы он ни делал; другой — рождается таким, как я, и должен ходить по струнке, чтобы с ним хотя бы иногда обращались, как с человеком. Одним с рождения дается возможность учиться, путешествовать — в общем, если можно так сказать, становиться умнее других, тех,

кто от природы наделен более живым и сильным умом. И так далее, мой друг, — во всем…

Несправедливость Природы? — что ж, здесь мы ничего поделать не можем. А вот несправедливость общественного устройства — с какой стати мы должны соглашаться с ней? И я согласен — что еще я могу сделать? — принять превосходство другого — если он и вправду талантливее, сильнее, умнее меня; если таким его сделала Природа. Но согласиться с превосходством того, кто получил его из рук искусственной социальной несправедливости, я не могу. Всё это — богатство, положение в обществе, беззаботная жизнь — он получил не как врожденный дар, а по воле случая — потому что так сложились обстоятельства. Все эти размышления, о которых я сейчас говорю, и послужили основой моего обращения к анархизму, который я исповедую и сейчас, без малейших изменений.

Здесь он снова прервался. Как будто, чтобы обдумать продолжение своей речи. Затянулся, выпустил дым. Снова немного склонился в мою сторону, собираясь продолжить, но тут я прервал его.

— Постой. У меня есть один вопрос… Скажи, а почему ты решил стать именно анархистом? Ты мог бы выбрать, например, социализм или еще что-нибудь прогрессивное, но не столь радикальное. Так ведь тоже можно было выразить свой протест… Ведь, насколько я понимаю, под анархизмом ты подразумеваешь (и мне такое понимание кажется верным) протест против всех условностей и социальных структур и стремление их уничтожить…

— Именно так.

— А почему ты выбрал именно эту — самую бескомпромиссную форму протеста… почему не остановился на чем-нибудь более умеренном?

— Сейчас объясню. Я много размышлял обо всем этом. И, конечно, я не раз читал обо всех этих теориях. И выбрал именно анархизм, как ты верно заметил — самую бескомпромиссную из них — вот почему.

Несколько мгновений после этих слов он молча смотрел как будто сквозь меня. Потом продолжил.

* * *

— Истинное зло, единственное, можно сказать, зло — это искусственные социальные условности, которые порабощают нашу природу; все и любые условности — семья, деньги, религия,

Государство. Люди рождаются мужчинами или женщинами, то есть, я хочу сказать, рождаются, чтобы стать мужчинами или женщинами, когда вырастут; но никто по законам природы не предназначен от рождения к тому, чтобы стать мужем, или быть богатым или бедным, так же как никто не рожден католиком или протестантом, португальцем или англичанином. Все это — лишь следствие социальных условностей. А что плохого в этих условностях? То, что они условности, то, что они противоестественны — все: деньги, институт семьи, религия. И если бы существовали другие, они были бы ничем не лучше, потому что так же порабощали бы и подавляли нашу природу. Более того, я утверждаю, что любая система будет лишь новой социальной условностью, кроме системы, предлагаемой анархизмом, которая требует уничтожения всех условностей вместе взятых, и каждой в отдельности. Отдавать все свои силы, весь свой труд, весь свой ум для того, чтобы поменять одну условность на другую, это, по меньшей мере, абсурд, если не преступление; это все равно что устроить революцию, а потом вернуть все на прежнее место. Если мы считаем несправедливыми социальные условности, потому что они подавляют и порабощают то, чем наделила человека природа, зачем же нам стремиться заменить эти условности — на другие, если мы можем попытаться уничтожить их — все?

Это, на мой взгляд, очевидно. Но предположим, что нет. Или, скажем, что все это верно, но теория анархизма при всем при этом — невоплотима. Думаю, что это возражение тоже стоит рассмотреть.

Итак, отчего же теория анархизма представляется неосуществимой? Все мы, кто способен мыслить по существу, исходим не только из того, что нынешняя социальная система несправедлива, но в большей степени — из того, что ее возможно и следует заменить на другую — более справедливую. Иначе, нам больше подошло бы слово «буржуазные», а не «прогрессивные». Но на чем же, можно спросить, мы строим наши представления о справедливости? На том, что естественно, и потому — истинно. В отличие от того, что нам диктуют общественные нормы и лживые социальные условности. А естественно, по-настоящему естественно, только то, что является таковым во всей полноте, не наполовину, не на четверть, не на восьмую часть, а полностью. Это, будем считать, мы выяснили. Отлично. Итак, теперь нам остается одно из двух-либо общество способно дать человеку возможность быть естественным либо нет; иначе говоря, общество может быть естественным, либо оно искусственно в самом своем существе, и естественным не может быть по определению. Если

общество может быть естественным, значит, может и даже должно существовать анархистское, то есть свободное, общество, потому что именно такое общество и является естественным во всей полноте. А если общество естественным быть не может, и это непременная часть его природы (и не важно, по какой причине это так), значит, из двух зол мы должны выбрать меньшее, значит, мы должны сделать его настолько естественным и настолько справедливым, насколько это возможно в этих условиях. Но какая условность может быть естественной? По существу — никакая. И значит, наиболее естественной будет та, которая кажется естественной, которую мы воспринимаем как наиболее естественную. А что нам кажется наиболее естественным, что мы воспринимаем как естественное? То — к чему мы привыкли. Ты понимаешь, да? Естественно — то, к чему нас влечет инстинкт. А что, не будучи инстинктом, более всего на него похоже? То, что составляет нашу повседневность. Курить — не естественно. В этом нет инстинктивной необходимости. Но если мы пристрастились к табаку, курение становится естественным, воспринимается как естественная необходимость. А что формирует наши привычки? Это нынешняя социальная система, наше буржуазное общество. Стало быть, если мыслить логически, нам остаются только два пути: или считать, что естественное общество возможно, и быть сторонником анархизма; или же считать такое общество утопией и защищать буржуазную систему. Третьего не дано. Понимаешь?..

— Да, конечно; это очевидно.

— Пока еще не вполне очевидно… Есть еще один вопрос, который необходимо прояснить… Предположим, что теорию анархизма можно воплотить, построив свободное общество. Предположим, но все же сомнительно при этом, что такое общество можно построить в ближайшее время, и без каких-либо промежуточных форм. Если мы сделаем такое предположение, это будет означать, что мы принимаем, как возможное, общество, построенное согласно теории анархизма, но в то же время считаем, что между ним и обществом буржуазным должна быть какая-то переходная стадия.

Хорошо. Значит, предположим, что так и есть. Какой же должна быть эта переходная форма? Наша цель — построить общество, которое будет соответствовать теории анархизма, то есть свободное общество. А эта промежуточная форма, таким образом, нужна, чтобы подготовить человечество к такому обществу. Подготовить людей к такому обществу можно на уровне материальном либо ментальном; а значит, этот процесс должен заключаться либо в проведении реформ, которые

подготовят людей к новому обществу, либо в пропаганде, которая воспитает умы таким образом, чтобы они захотели построить или принять новое, свободное, общество.

Начнем с первого пункта, то есть, с постепенной материальной подготовки людей к свободному обществу. Это невозможно, и более того — абсурдно. Приспособиться материально можно только к тому, что уже *есть.* Никто из нас не может приспособиться материально к социальным условиям двадцать третьего века, даже если мы будем знать, какими будут эти условия; приспособиться к этим условиям мы не можем, потому они *материально* не существуют. А значит, мы вынужденно приходим к заключению, что при переходе от буржуазного к свободному обществу единственным видом адаптации или эволюции могут быть изменения *ментальные,* а именно — постепенное усвоение людьми идеи свободного общества… В общем — так, а что касается материального приспособления, остается еще одна гипотеза…

— Сколько же у тебя гипотез!?

— Конечно, мой дорогой друг, ведь человек разумный прежде чем принять какую-либо доктрину должен рассмотреть все возражения, которые могут быть направлены в ее адрес. Ну, и в конце концов, я ведь отвечаю на твой вопрос.

— Это верно.

— С точки зрения приспособления материального, как я сказал, у нас, по существу, есть только одно решение — революционная диктатура.

— Революционная диктатура?

— Как я уже сказал, невозможна никакая материальная адаптация к тому, что материально еще не существует. И если, вдруг, случится революция, следствием ее будет не установление свободного общества (поскольку к такому обществу люди еще не готовы), а диктатура тех, кто хочет это общество построить. И в этом будет, пусть только в зачаточном виде, что-то от будущего свободного общества. Что-то, к чему уже можно будет приспосабливаться материально. И если бы животные, которые устанавливают «диктатуру пролетариата», были способны размышлять или хотя бы вообще мыслить, они бы, несомненно, приняли этот аргумент. Хотя, конечно, это не их аргумент, а мой. Этот аргумент — ложный. Сейчас объясню — почему.

Революционный режим, пока он существует, какой бы ни была его цель, и какая бы идея ни лежала в его основе, по существу, есть именно революционный режим, и ничто иное. А революционный режим — это военная диктатура, или же, если быть точнее, — военная деспотия, потому что это система, в

которой одна часть общества, которая пришла к власти путем революции, господствует над другой. И к чему же это ведет? А ведет это к тому, что люди, приспосабливающиеся к этому режиму, который существует здесь и сейчас, существует *материально,* приспосабливаются, таким образом, к военной деспотии. Идеи, которыми руководствовались революционеры, цели, которые они преследовали, все это испаряется в такой социальной реальности, главная составляющая которой — военный режим. Из революционной диктатуры может получиться только одно — и тем скорее получится, чем больше это состояние продлится: общество, построенное на военной деспотии, или, иначе говоря — военная диктатура. И по-другому не бывает. Всегда было так. Я не могу сказать, что хорошо знаю историю, но все, что знаю, говорит в пользу этого утверждения. И сложно представить себе что-то иное. Чем закончились все политические волнения Рима? Римской империей со всем ее военным деспотизмом. Чем закончилась Французская революция? Наполеоном и его военным деспотизмом. И вот увидишь, чем бы ни закончилась Русская революция — это «что-то» на много лет задержит построение свободного общества… Впрочем, чего еще можно было ожидать от страны безграмотных крестьян и мистиков.

Однако, здесь мы уже отклоняемся от нашей темы… Понятен ли тебе ход моей мысли?

— Вполне понятен.

— Что ж, значит, становится очевидно, что я пришел к следующему заключению: цель — общество, построенное согласно анархистской теории, то есть, свободное общество; средство — переход от буржуазного общества к свободному без *промежуточных стадий.* А этот переход должен быть подготовлен мощной, всеобъемлющей, всепоглощающей пропагандой, которая обратит в свою сторону все умы и устранит все преграды. И тут надо понимать, что под пропагандой я подразумеваю не только слово, написанное или произнесенное. Пропаганда в этом случае — это любое действие, прямое или косвенное, направленное на построение свободного общества и устранение всех препятствий на этом пути. Если революция не встретит никакого сопротивления, будет легкой и быстрой, не понадобится никакой диктатуры, потому что ее не к чему будет применить. А если все это невозможно, значит, анархизм не осуществим, если же анархизм не осуществим, нам остается, как я уже показал, защищать и принимать как справедливое — буржуазное общество.

Теперь ты знаешь, почему я выбрал анархизм и отказался от

других социальных доктрин, не столь радикальных, и, кроме того, фальшивых и противоестественных.

Да… что ж, значит я могу продолжить свой рассказ.

Он зажег спичку, поднес ее к сигаре, закурил. И потом, собравшись с мыслями, снова заговорил.

* * *

— В то время не у меня одного были такие идеи. Почти все, кто думал так же, были рабочими, и все, без исключения, — были бедны. А еще, если память мне не изменяет, никто из нас не был глуп. У всех нас было стремление учиться, познавать мир, и, в то же время, заниматься пропагандой, распространять наши идеи. Мы хотели построить новое общество, свободное от предрассудков, которые лишают людей естественного равенства, унижают, заставляют страдать, испытывать лишения. Мы хотели этого для себя, для других; для всех! И то, что тогда я находил в книгах, укрепляло мои идеи. Из дешевой анархистской литературы того времени, которой было немало, я прочитал почти все. Я ходил на публичные лекции, ходил на митинги. Все, что я читал и слышал, убеждало меня в правоте моих идей. И сейчас, я готов повторить это снова, я думаю точно так же, как и тогда. Разница только в том, что раньше я только думал, а сейчас я и думаю, и делаю.

— Хорошо, допустим, здесь все понятно. Ясно, что таким образом ты стал анархистом. И очевидно, что ты действительно был анархистом. Это, будем считать, доказано. Но как, скажи мне, из этого всего получился банкир… каким образом, без противоречий… Это, если я правильно понимаю…

— Нет, ты неправильно понимаешь… Я знаю, что ты имеешь в виду… Речь о том, что я только что сказал. Ты полагаешь, что я пришел к такому выводу: анархизм неосуществим, а значит, если что и следует защищать и считать справедливым, — это буржуазное общество. Верно?

— В общем, да, более или менее…

— Интересно, и почему же ты так думаешь, если я с самого начала говорил тебе, что я не только был анархистом, но и *теперь* я — анархист. Если бы я стал банкиром и коммерсантом по той причине, которую ты считаешь верной, я бы уже был не анархистом, а буржуа.

— Да, это верно… Но, черт возьми… Объясни же мне, в конце концов…

— Как я уже говорил, я всегда отличался пытливым умом, и,

кроме того, был человеком дела. Это мои естественные качества, они мне были свойственны уже тогда, когда я лежал в колыбели (если, конечно, у меня вообще была колыбель). С этим все понятно. И поэтому я в какой-то момент почувствовал, что для меня невыносимо быть анархистом только в теории, что я не могу ограничиться обсуждением каких-нибудь лекций со своими друзьями. Нет, я должен был действовать! Я должен был работать, должен был бороться, защищая угнетенных, тех, кто стал жертвой социальных условностей. Я должен был приложить усилия, столько, сколько мог. И, придя к такому выводу, я начал думать о том, какую пользу я могу принести освободительному движению, и начал разрабатывать план действий.

Чего хочет анархист? Свободы, для себя и для других. Для всего человечества. Он хочет быть свободным от влияния и агрессии социальных условностей. Он хочет быть свободным, таким, каким появился на свет, и в этом он видит осуществление справедливости. И поэтому хочет свободы для себя и для других. Природа не создает нас всех по одному образцу, мы разные: высокие или низкие, сильные или слабые. Одни в большей степени наделены умом, другие — в меньшей. Но в остальном все могут быть равны, только социальные условности мешают этому. И эти условности следовало уничтожить.

Да, их следовало уничтожить… Но при этом, нельзя было упустить из виду, что это делается *во имя свободы,* с целью — построить свободное общество. Потому что уничтожить социальные условности можно как для того, чтобы достичь свободы, или проложить дорогу к свободе, так и для того, чтобы установить другие социальные условности, столь же вредные уже потому, что они условности. Поэтому здесь требовалась осторожность. Нужно было выбрать верное направление действий, понять, стоит ли прибегать к насилию (ведь в борьбе против социальной несправедливости любые средства — законны) или не стоит, нужно было действовать так, чтобы уничтожить социальные условности, но в то же время не навредить делу построения свободного общества, и начать, если это возможно, работать в этом направлении безотлагательно.

Конечно, свобода, которую нам предстояло построить, — это *будущая свобода,* а в настоящем она есть *свобода людей, угнетенных социальными условностями.* И очевидно при этом, что эта свобода не имеет ничего общего со «свободой» властьимущих, «свободой» богатых, всех тех, кто является представителем социальных условностей и получает выгоду от них. Это не свобода, это свобода властвовать, а значит, прямая противоположность свободы. И против этого именно — и

следовало бороться. Это, я полагаю, очевидно…

— Да, вполне. Продолжай…

— Для кого анархист хочет свободы? Для всего человечества. Каким образом можно сделать свободным все человечество? Уничтожить все социальные условности. Что нужно сделать, чтобы уничтожить все социальные условности? На этот вопрос я уже ответил, когда мы говорили о том, почему я выбрал анархизм, а не какое-либо другое прогрессивное направление… Ты помнишь мои аргументы в этом вопросе?..

— Помню…

— Радикальная революция, молниеносная, мгновенная, которая одним броском переменит буржуазный режим на свободное общество. Революция, подготовленная долгой напряженной работой, прямо и косвенно направленной на то, чтобы подготовить умы людей к новому свободному обществу и ослабить сопротивление буржуазии. Умозаключения, которые привели меня к такому видению предмета в контексте анархизма, я повторять не стану. Мы уже говорили об этом, и тебе здесь все понятно.

— Да.

— Желательно, чтобы эта революция была всемирной и одновременной повсюду, или хотя бы в наиболее значительных пунктах. Или же, если это не случится, ее распространение должно происходить очень быстро, и, кроме прочего, что самое главное, во всех странах революция должна быть мгновенной и абсолютной.

Итак, хорошо. Дальше из всего этого следует вопрос — что я мог сделать, чтобы достичь этой цели? Я — один — не мог устроить всемирную революцию, я не мог даже организовать успешную революцию на сколько-нибудь значительной территории в той стране, где живу. Единственное, что я мог, — это работать, не жалея сил, чтобы подготовить эту революцию. Я уже говорил, как — для этого надо было всеми доступными средствами бороться с социальными условностями; и никогда не отступаться от этой борьбы, от пропаганды свободного общества, будущей свободы или же свободы угнетенных в настоящем; никогда не отступаться от стремления создать уже сейчас хотя бы что-нибудь подобное будущему свободному обществу.

Он выпустил дым, немного помолчал, и потом снова продолжил.

* * *

— Итак, мой друг, я пришел к тому, что решил применить мой светлый ум к определенному действию. Работать для будущего — да, так, верно, думал я. Работать для того, чтобы другие были свободны, именно так. Но что же в таком случае будет со мной? Разве я — никто? Если бы я был христианином, мой труд во благо других был бы радостным и светлым, потому что в таком случае меня бы ожидала награда на небесах. Но если бы я был христианином, я не был бы анархистом, потому что для христианина социальное неравенство в этой недолгой жизни не имеет особенного значения. Это всего лишь испытание для нас, за которое мы будем вознаграждены в вечной жизни. Но я не христианин, и не был христианином, и поэтому я не раз спрашивал себя — для кого я принесу себя в жертву? И более того — почему, в конце концов, я должен жертвовать собой?

Время от времени я начинал сомневаться в том, что выбрал верный путь; и сомнения эти, как ты понимаешь, не были безосновательными… Для чего мне, материалисту, думал я, у которого есть только одна — эта — жизнь, для чего мне мучиться из-за какой-то пропаганды, из-за какого-то социального неравенства, и всяких прочих историй в этом духе, если я могу заняться собой и чувствовать себя много лучше без всего этого. С какой, собственно говоря, стати тот, у кого только одна жизнь, тот, кто не верит в жизнь загробную, тот, для кого есть только один закон — Природа, тот, кто противопоставляет себя государству, потому что оно не естественно, деньгам, потому что они не естественны, браку, потому что он тоже против естества, всем социальным условностям — потому что они не естественны, почему этот человек должен быть альтруистом, и приносить себя в жертву ради других или, скажем, ради человечества, если и этот альтруизм, и эта жертва в такой же точно мере — не естественны. Тот же самый ход мыслей, который делает очевидным, что человек не рождается для того, чтобы стать чьим-то мужем или женой, для того, чтобы быть португальцем, для того, чтобы быть богатым или бедным, ведет к тому, что человек не рождается и для того, чтобы быть солидарным с кем бы то ни было, что человек рождается лишь затем, чтобы жить для себя, а не во имя альтруизма солидарности, к тому, что человек рождается — эгоистом.

Я не раз обсуждал этот предмет с самим собой. Да, я говорил себе, что все мы от рождения принадлежим к человеческому роду, и наш долг поэтому быть солидарными с другими людьми. Но идея «долга» — естественна ли она? Из чего вырастает эта идея, откуда? Если этот долг обязывает меня принести в жертву мое благополучие, мое удобство, мой инстинкт самосохранения, и все

остальные мои инстинкты, чем же он тогда отличается от социальных условностей, которые принуждают меня к тому же?

Идея долга, идея солидарности могла бы считаться естественной только в одном случае — если бы она подразумевала какую-нибудь *эгоистическую компенсацию,* потому что тогда она хотя и имела бы в своем исходе противоречие с естественным эгоизмом, в итоге удовлетворяла бы его, и снимала, тем самым, противоречие. Отказываться от своего блага, просто так жертвовать им — это не естественно; отказываться от одного блага, чтобы получить другое — это уже другое дело, это не противоречит Природе: если есть две вещи, которыми мы не можем обладать одновременно, вполне естественно выбрать одну из них. Какую эгоистическую, или, скажем, естественную компенсацию могло дать мне самоотверженное служение построению свободного общества, в котором обретут счастье грядущие поколения? Только сознание исполненного долга, сознание верности благой цели. Но ни то, ни другое нельзя назвать эгоистической компенсацией. Ничто из этого не является естественным удовольствием, и если вообще каким-то удовольствием является, то искусственным, рожденным той или иной условностью, так же как, например, удовольствие быть сказочно богатым, или занимать высокое положение в обществе.

Признаюсь тебе, мой друг, что иногда меня мучили сомнения… Я чувствовал себя не верным своей доктрине, чувствовал себя предателем… Но вскоре я все это преодолел. Идея справедливости, думал я, здесь, внутри меня. И я ощущал ее как естественную. Я чувствовал, что мой наивысший долг заботиться о своей собственной судьбе. И решил следовать этому долгу.

— Да, но в этом я не вижу ни малейшего свидетельства твоего пытливого ума… Ты не решил задачу… Ты просто поддался эмоциональному порыву…

— Именно так. Но ведь я и рассказываю тебе о том, как я стал анархистом, о том, как не перестал им быть, и о том, что остаюсь им и теперь. Я откровенно признаюсь в своих сомнениях, рассказываю о трудностях, которые преодолел. И я согласен — в тот момент я преодолел логическое затруднение чувством, а не разумом. Но, должен заметить, что в дальнейшем, когда доктрина анархизма открылась мне во всей полноте, эти затруднения, которые прежде не имели логического ответа, получили свое разрешение, исчерпывающее и вполне определенное.

— Да, это интересно…

— Интересно… А теперь, с твоего позволения, я продолжу. У меня возникло затруднение, и, так или иначе, я его разрешил. Но

затем, вследствие моих размышлений, возникла новая проблема, которая вызвала во мне не меньшее смущение, чем предыдущая.

Предположим, что я был готов пожертвовать собой без какого-либо личного вознаграждения, то есть без какого-либо вознаграждения, действительно *естественного.* Но вслед за этим возникает вопрос — а что если будущее общество не будет иметь ничего общего с моими ожиданиями, что если свободного общества вообще никогда не будет — какого же черта мне жертвовать собой? Жертвовать собой ради идеи, без личного вознаграждения, без какой-либо собственной выгоды — допустим; но жертвовать собой даже без малейшей уверенности в том, что цель этой жертвы когда-нибудь будет достигнута, и даже без *уверенности в том, что твои усилия как-то послужат искомой цели,* это уже дело посерьезнее… Сразу скажу, что это затруднение я также преодолел эмоциональным порывом; но заметь — это важно, — что когда я достиг вполне осознанного понимания моего анархизма, обе проблемы автоматически разрешились логическим путем… Скоро ты поймешь… В то время, о котором я рассказываю тебе, единственной поддержкой мне были пустые слова — вроде: «Я исполняю свой долг перед будущим, чтобы будущее исполнило свой долг передо мной…»

Я поделился этим соображением, или, точнее, — соображениями, с моими товарищами, и все они согласились со мной, все согласились, что нужно действовать и сделать все возможное для того, чтобы общество стало свободным. Правда, надо сказать, некоторые — самые умные — были несколько обескуражены. Но не потому, что мои размышления вызывали в них несогласие, а потому, что они никогда не смотрели на вещи таким образом, потому что все это им ни разу не пришло на ум… Но, в конце концов, все согласились… Мы решили посвятить себя великой социальной революции, свободному обществу, независимо от того, оправдает ли будущее наше решение. Мы собрали группу из надежных людей и начали масштабную пропаганду — масштабную, конечно, в рамках наших возможностей. И так, преодолевая препятствия, трудности, подчас и опасности, мы довольно долго работали во имя идеалов анархизма.

Здесь мой друг банкир сделал продолжительную паузу. Его сигара снова погасла, но он не обратил на это внимания. На его лице вдруг появилась едва заметная улыбка, как будто он вдруг остановился мыслью на чем-то очень важном. И тогда он сосредоточенно посмотрел на меня и продолжил, немного повысив голос и отчетливо произнося каждое слово.

* * *

— В какой-то момент — сказал он, — возникло новое обстоятельство. «В какой-то момент» — это просто способ выражения. Он означает, что после нескольких месяцев пропаганды я стал замечать новое затруднение. И оно было посерьезнее других. Это была по-настоящему серьезная трудность…

Ты, конечно, помнишь, каким, согласно моему категоричному рассуждению, должен был быть процесс осуществления анархистской доктрины… Этот процесс, или процессы, должен был разрушать социальные условности, и в то же время, способствовать созданию свободного общества, оберегая все то немногое, что уже создано для тех, кто угнетен этим условным неравенством. Этот процесс уже в настоящем должен был иметь что-то от будущей свободы…

Итак, однажды, приняв этот критерий в качестве верного, я уже никогда от него не отказывался… И вот, через некоторое время после того, как мы приступили к пропаганде, я сделал одно важное наблюдение. В нашей группе — а было нас не много, может быть, человек сорок — случилось следующее — начала возникать тирания.

— Тирания? Началась тирания? Но как?..

— Следующим образом… Кто-то начал отдавать приказы и куда-то кого-то вести; другие начинали брать шефство и к чему-то принуждать товарищей, третьи всякими уловками тащили других туда, куда им хотелось. Я не хочу сказать, что все это происходило в каких-то важных и серьезных делах… впрочем, там и вообще-то не было ничего важного и серьезного. Но как бы ни было, что-то подобное происходило каждый день, и не только в деле пропаганды, но в самых обычных повседневных делах. Одни незаметно становились руководителями, другие незаметно становились подчиненными. Одни откровенно присваивали себе полномочия лидера, другие делали то же самое — хитростью. И это происходило в самых простых вещах. Вот пример: два товарища шли по улице, и, когда достигли перекрестка, одному надо было идти направо, а другому — налево. У каждого было свое дело. Но вот тот, которому надо было идти налево, говорит другому: «Пойдем со мной». Другой отвечает (вполне правдиво): «Не могу, мне в другую сторону». И, действительно, ему в другую сторону. Но, в конце концов, вопреки своей воле и своим делам, он идет с тем, кто позвал его, ну, скажем, налево… И так происходит потому, что его убедили, то потому лишь, что другой оказался настойчивым, то еще по какой-то причине. Но во всем

этом никогда нет никакого рационального основания. Напротив, и в этом желании подчинять, и в склонности подчиняться всегда есть что-то спонтанное, как бы инстинктивное… И в этой простой истории, и во всех остальных тоже, от самых незначительных до самых важных. Ты понимаешь?

— Понимаю. Вот только что же странного, черт возьми, ты в этом находишь? Это же естественно, как сама Природа!

— Может быть. К этому мы еще вернемся. А пока я хочу, чтобы ты обратил внимание на то, что все это было ни чем иным как *прямой противоположностью тому, что предписывает доктрина анархизма.* И заметь, все это происходило в небольшой группе, у которой не было никакого влияния, никакого значения, в группе, которой не было доверено никакого важного дела, которая не принимала никаких важных решений. Заметь, это происходило в группе, в которой люди объединились именно для того, чтобы стремиться к идеалам анархизма, то есть для того, чтобы бороться, насколько это было в их силах, против социальных условностей, и создавать, по мере сил, свободное общество будущего. Ты обратил внимание на эти два пункта?

— Да, обратил.

— А теперь посмотрим, к чему это привело… Небольшая группа людей, искренне преданных своему делу (могу поклясться, что мы были искренны!), созданная и объединенная с целью создания нового свободного общества, в конце концов, по прошествии нескольких месяцев, добилась только одного — *тирании.* И заметь, что эта тирания… Эта тирания не была следствием социальных условностей, что было бы простительно — пусть и досадно — даже нам. Хотя мы для того и объединились, чтобы бороться с этими условностями. В конце концов, мы жили в этом обществе, основанном на этих условностях, и не могли полностью избежать его воздействия. Но дело не в этом. Дело в том, что тот, кто начинал приказывать или вести других, куда ему хотелось, делал это не при помощи денег, и не потому, что у него было высокое положение в обществе, и не по какой-либо другой причине, проистекающей из искусственного овладения властью одних людей над другими. Все это происходило вне зависимости от социальных условностей. То есть эта тирания, относительно социальных условностей, была *новой тиранией.* И эта тирания подавляла людей, уже и без того до крайности угнетенных социальными условностями. И, главное, это была тирания, установленная людьми, которые стремились уничтожить тиранию и создать свободное общество.

А теперь представь более масштабную группу, которая будет более влиятельной, будет заниматься важными вопросами и

принимать серьезные решения. И представь, что такая группа сосредоточила свои усилия на создании свободного общества. А теперь скажи, сквозь все эти тирании — старые и новые — просматривается ли, по-твоему, что-нибудь похожее на новое свободное общество или на человечество, которое будет достойно называться этим словом?..

— Да, это любопытно.

— Любопытно, очень. Но есть и другие, второстепенные, но тоже очень любопытные моменты… Например, тирания помощника…

— Что?

— Тирания помощника. Среди наших товарищей были и такие, кто, вместо того, чтобы распоряжаться другими, напротив, всячески им помогал, насколько это было в его силах. Как будто не похоже на тиранию, правда? Но это именно она. Это тоже новая тирания, которая ничего общего не имеет с принципами анархизма.

— Это с какой же стати?!

— Это потому что помогать кому-либо, значит считать человека не способным обойтись без помощи; таков он или нет, помогая ему, мы или делаем его таким, или предполагаем, что он такой, и если первое — это тирания, то второе — презрение. В первом случае — ограничивается свобода другого, во втором все положение вещей основывается на том, что другой заслуживает презрения и не достоин свободы, или просто не способен быть свободным.

Вернемся теперь к нашей истории… Ты видишь, что ситуация была очень серьезной. Допустим, мы были готовы работать, строить новое общество, не ожидая никакой благодарности и, вероятно, даже, не надеясь на то, что наш труд увенчается успехом. Пусть так. Но было во всем этом то, с чем уже нельзя было примириться: мы трудились во имя будущей свободы, но на деле не создавали ничего, кроме тирании, и не просто тирании, а новой тирании, в которой мы, угнетенные, сами были тиранами. Это уже переходило все границы…

Я серьезно задумался над этим. Во всем этом была какая-то ошибка, какой-то просчет. Наши намерения были правильными, наша доктрина казалась верной; может быть, наши действия были в чем-то ошибочны? Я сосредоточенно размышлял об этом, так, что едва не дошел до помешательства. И вот однажды, как это и происходит обычно в таких случаях, пришло решение. Это был знаменательный день рождения моей теории; день, когда я открыл, если можно так сказать, технику анархизма.

Он бросил на меня отсутствующий взгляд. Затем продолжил

тем же тоном.

— Я думал так… Вот, у нас получилась новая тирания, тирания, не созданная социальными условностями. Но в чем же тогда причина этой тирании? Может быть, она обусловлена естественными качествами человека? Если так — тогда прощай свободное общество! Если общество, в котором действуют только естественные качества человека, те качества, с которыми он рождается, которыми он наделен от Природы и над которыми нет никакой власти, — если общество, где имеют силу только эти качества человека, представляет собой ни что иное, как тиранию, никто даже пальцем не пошевелит, чтобы построить такое общество. Если наш выбор только между тиранией и тиранией, пусть уж лучше будет та, что есть. К ней мы, по крайней мере, привыкли, и поэтому ощущаем ее не так остро, и в ней нет той ужасной непоправимости, которая есть во всем, что происходит от Природы — в необходимости умереть, против которой невозможно устроить мятеж, как невозможно устроить революцию, которая позволила бы стать высоким человеку, который родился низким. И, как я уже говорил тебе, если по какой-то причине анархистская модель общества неосуществима, лучшей альтернативой, поскольку она наиболее естественна, будет общество буржуазное.

Но все же, была ли эта тирания, которая возникла среди нас, следствием естественных свойств человеческой природы? И что же представляют собой эти свойства? Степень развития ума, воображения, воли и т. д., которой мы наделены от рождения. Все это относится к области сознания. О физических качествах, конечно, речь не идет. А теперь представим, что один человек, без каких-либо социальных условностей, начинает господствовать над другим, только в силу того, что превосходит последнего своими естественными свойствами, то есть, господствует, используя только свои естественные качества. Здесь возникает вопрос: законно ли такое использование естественных качеств, или, иначе говоря, — *естественно* ли оно?

Какое вообще использование наших естественных качеств можно назвать естественным? То, которое будет направлено на достижение естественных целей нашей личности. Может быть, тогда господствовать над другими — это естественная потребность нашей природы? Может быть — но только в одном случае: когда речь идет о противнике. И для анархиста вполне очевидно, кто его противник — его противник тот, кто утверждает тиранию социальных условностей. И никто иной, потому что все остальные люди — такие же, как он, равные ему от природы. И совершенно очевидно, что тирания, которая

установилась среди нас, не была таковой; наша тирания была направлена на таких же людей, как мы, более того — эти люди были нашими товарищами в еще большей степени, потому что нас объединяли общие идеалы. Вывод из этого — следующий: наша тирания не была обусловлена социальными нормами, но и естественные качества человека также не были ее причиной, происходила же она из ложного применения этих качеств, от испорченности их. Откуда же в таком случае происходит эта испорченность?

Здесь возможны две альтернативы: или человек склонен к тирании от Природы, и поэтому все его естественные качества *естественным же образом извращены,* или эта испорченность происходит от того, что на протяжении долгого времени человечество существовало в атмосфере социальных условностей, создающих тиранию, и поэтому естественное употребление естественных его качеств приобрело тиранический характер. Какая из этих гипотез верна? Удовлетворительный ответ, логичный и отвечающий принципам научного мышления, найти невозможно. Размышление в данном случае не может разрешить проблему, поскольку оно обусловлено исторически или научно, и зависит от знания *фактов.* Наука также в данном случае помочь не может, поскольку, как бы далеко мы ни продвигались в обратной исторической перспективе, мы всегда находим человека в условиях той или иной тирании, и это не дает нам возможности определить, каким является человек, живущий в исключительно естественных условиях. Возможности однозначно ответить на вопрос, какая из этих гипотез верна, у нас нет, поэтому все, что нам остается, выбрать из них ту, которая представляется наиболее вероятной, а именно — вторую. Предположить, что долгое пребывание человечества в атмосфере социальных условностей, порождающих тиранию, извратило естественные человеческие качества таким образом, что все люди стали склонны к тирания, даже в тех случаях, когда не имеют намерения господствовать над другими, было бы более логичным, чем считать, что естественные качества в нас извращены от природы, что в каком-то смысле даже не лишено противоречия. Поэтому любой мыслитель, выберет в данном случае, как некогда это сделал я, вторую из названных гипотез.

Итак, очевидно здесь, по существу, только одно… При нынешнем состоянии общества не может существовать группа людей, которые смогли бы объединить свои усилия и не создать при этом в своей среде новую тиранию, прибавив ее к тем условностям, против которых они восстали. Сколь бы прекрасны ни были их намерения, и сколь бы самоотверженно ни

стремились они бороться с условностями, препятствующими свободе, на практике они разрушат все, к чему стремятся в теории, и более того, вероятно, погубят все идеи, которые попытаются утвердить. Что же делать в таком случае? Очень просто… Продолжать работу — во имя общей цели, но *по отдельности.*

— По отдельности?!

— Да. Разве ты не слышал, о чем я говорил?

— Слышал.

— И ты не находишь логичным, я бы сказал, фатальным мое заключение?

— Нахожу, да… нахожу. Чего я не понимаю — как это…

— Сейчас объясню… Я сказал: работать вместе ради общей цели, но по отдельности. Если все будут трудиться ради общей цели анархизма, каждый будет своими усилиями способствовать разрушению социальных условностей и созданию свободного общества; и если при этом все будут работать отдельно, то между нами никогда не возникнет *никакой новой тирании,* потому что никто не будет воздействовать друг на друга, а значит, не сможет ни господствовать над другим, ограничивая его свободу, ни помогать другому, делая, таким образом, его свободу неполноценной.

Работая так — по отдельности — ради общей цели, мы будем иметь два преимущества: наши усилия будут объединены, и в то же время не возникнет новой тирании. Мы останемся едины — потому что у нас общие идеалы, общий труд и общая цель; мы останемся анархистами, потому что каждый из нас трудится во имя свободного общества; но так мы перестанем быть предателями, пусть даже и были таковыми невольно, так у нас просто не будет возможности предать наше дело, потому, работая в одиночку, мы не будем испытывать пагубное воздействие социальных условностей, и даже его отражения в естественных качествах, данных нам Природой.

Разумеется, эта тактика применима только к тому периоду, который я назвал *подготовкой* к социальной революции. Когда стены крепости буржуазного режима рухнут, когда все общество будет способно воспринять доктрину анархизма, и уже можно будет начать социальную революцию, тогда — для заключительного действия — уже нельзя будет оставаться порознь. Но не прежде; потому что до тех пор общественное сознание не будет готово к свободе. Поэтому тактика, о которой я говорил, не универсальна. Она относится только к утверждению анархизма в буржуазном обществе, к той небольшой группе, о которой шла речь, и к настоящему положению вещей.

Ведь это — наконец-то! — и есть настоящий процесс утверждения анархизма. Вместе мы не могли сделать ничего существенного, и, кроме того, еще и устраивали в своем кругу тиранию, мешая друг другу следовать нашей общей задаче. По отдельности мы тоже не много могли сделать, но, по крайней мере, мы ни у кого не отнимали свободу, не создавали новой тирании, и то, что нам удавалось, — действительно было достижением, без предательской оборотной стороны. И так — с каждым днем все больше — не чувствуя больше опоры друг в друге, мы учились верить в себя, мы становились свободнее и готовили для будущего — каждый самого себя и других — своим примером.

Это открытие отозвалось в моей душе ликованием. Не теряя времени, я рассказал о нем товарищам… И это был тот редкий случай, когда я поступил глупо. Представь, как я был воодушевлен, если решил, что они, конечно, со мной согласятся!..

— Они, разумеется, не согласились…

— Они возмутились, мой друг, они все были возмущены! Одни больше, другие меньше, но все, как один, начали протестовать!.. Это не так!.. Так быть не может!.. Но никто при этом не сказал, как есть или как должно быть. Я приводил свои доводы и аргументы, а в ответ слышал только пустые фразы, вроде того мусора, который сыплется из всяких министров, когда они не знают, что ответить… Тогда я понял, с каким трусливым скотом мне пришлось иметь дело! Все стало ясно. Этот сброд был рожден для рабства. Они хотели быть анархистами за чужой счет. Они хотели свободы, которой добьются для них другие, которой их наградят, как будто свобода — это титул, принимаемый из рук какого-нибудь монарха. Одно им название — почти всем — лакеи!

— И тебя это разозлило?

— Разозлило? Я пришел в бешенство, в ярость. Я едва не бросился на них. Я был близок к тому, чтобы пустить в ход кулаки. И, в конце концов, я ушел, полностью отделился от них. Честное слово, меня стало мутить от одного вида этого тупого стада! Я почти утратил веру в анархизм. Почти решился на то, чтобы все это бросить. Но через несколько дней все же пришел в себя. Я пришел к выводу, что идеалы анархизма выше всего этого. Они не хотят быть анархистами? Значит, я буду один. Они хотят только поиграть в освободителей? Я такими вещами шутить не стану. Они могут сражаться, только постоянно опираясь друг на друга и создавая между собой новый вид тирании, с которой как будто собираются бороться? Что ж, это их дело. Если они больше ни на что не способны, пусть поступают, как хотят. Я из-за всего

этого филистером становиться не собираюсь.

Было очевидно, что истинный анархизм подразумевает, что каждый, по мере сил, старается утвердить свободу и борется против социальных условностей. Что ж, значит я, по мере сил, буду бороться с условностями и утверждать свободу. Никто не хочет следовать за мной по пути истинного анархизма? Значит, я пойду один. Без какой-либо, хотя бы только моральной, поддержки моих бывших товарищей. И пусть в помощь мне будет на этом пути лишь моя вера и мой ум. Я не хочу сказать, что это был красивый или, тем более, героический жест. То, что я сделал, — было естественно, только и всего. Если по этой дороге каждый должен был идти в одиночку, мне и не нужен был никто, чтобы следовать по ней. Мне достаточно было моего идеала. Достаточно было того, что я решил сам для себя: бороться с социальными условностями.

Здесь он ненадолго прервал свою пламенную и убедительную речь. И через несколько мгновений продолжил, уже более сдержанно.

* * *

— Теперь мы находимся в состоянии войны — я и социальные условности. Хорошо. Что я могу сделать против социальных условностей? Работать в одиночку, чтобы не создавать никакой новой тирании. Что я могу сделать один для того, чтобы приблизить социальную революцию, для того, чтобы подготовить человечество к свободному обществу? Для этого есть два способа, и я должен выбрать один из них, разумеется, если нет возможности воспользоваться обоими. Способы, о которых я говорю, — это или косвенное воздействие на общество, то есть пропаганда, или прямое воздействие в той или иной форме.

Сначала я подумал о косвенном воздействии, о пропаганде. Какой пропагандой я мог бы заняться в одиночку? Пропаганда — это, по существу, — разговор на известную тему при любом удобном случае. И я хотел знать, возможно ли действовать в этом направлении, прилагая максимум усилий, и получить при этом ощутимый результат. В скором времени я пришел к выводу, что это невозможно. Я не оратор и не писатель. Конечно, я могу выступить с публичной речью или, если это будет необходимо, написать статью для журнала. Но мне хотелось прежде всего понять, могу ли я использовать в этом направлении свои естественные склонности и добиться при этом *положительного результата* в большей степени, чем если бы я выбрал другую

точку приложения своих усилий. Действие всегда эффективнее пропаганды, разумеется, если речь не идет о тех людях, чьи способности в наибольшей степени подходят именно для пропаганды, — о великих ораторах, способных увлекать за собой множество людей, и о писателях, способных завораживать и убеждать других своими книгами. Мне никогда не казалось, что я тщеславен, но даже если я в этом ошибаюсь, едва ли меня можно обвинить в том, что мне свойственно гордиться тем, чем я не обладаю. И, как уже было сказано, я никогда не считал себя оратором или писателем. Поэтому я оставил мысль о косвенном воздействии на общество для осуществления идеалов анархизма и был вынужден выбрать действие, приложив свои усилия к тому, что непосредственно отразится в жизни. Не размышление, а действие. Именно так. Это был мой путь.

Я должен был понять, каким образом я могу осуществить в реальной жизни мои фундаментальные представлении об анархизме — бороться против социальных условностей, не создавая новой тирании, и в то же время, если это возможно, утверждая уже сейчас — хотя бы в чем-то — свободное общество будущего.

Но что значит — бороться в реальной жизни? Бороться в реальной жизни означает вести войну, *так или иначе,* если не напрямую. Как вести войну против социальных условностей? Как вообще можно одержать победу в какой-либо войне? Одним из двух способов: или убить противника, то есть уничтожить его, или подчинить его, лишив возможности действовать. *Уничтожить* социальные условности я не мог, потому что осуществить это можно только посредством социальной революции. А пока этого не произошло, социальные условности можно только постепенно расшатывать. *Уничтожить* их можно только утверждением свободного общества, и окончательным падением буржуазного режима. В таких условиях я не мог бы сделать ничего большего, кроме как уничтожить, иначе говоря — убить, одного или нескольких представителей буржуазного общества. Я обдумал такой вариант и понял, что это глупость. Предположим, я убью одного или двух, или, скажем, дюжину представителей социальной тирании… Каков будет результат? Социальные условности будут повержены? Нет, не будут. Социальные условности существенно отличаются от политических систем, существование которых может зависеть от небольшой группы людей, а иногда даже от одного человека. В социальных условностях главное зло составляют они сами в своей совокупности, а не люди, через которых они воплощаются, и которые тем самым становятся их представителями. И, кроме

того, покушение на тот или иной социальный строй всегда вызывает одну и ту же реакцию — положение вещей не только не меняется к лучшему, но, напротив, становится еще хуже. А в довершение всего, после устроенного мной покушения, на меня, конечно же, начнется охота, и — так или иначе — меня уничтожат. Теперь представим, что я уничтожил дюжину капиталистов. К чему это приведет, каким будет результат? Вследствие моей ликвидации, пусть даже меня не убьют, а только арестуют или отправят в ссылку, дело анархизма потеряет боевую единицу. В то время как дюжина капиталистов, которых я мог бы отправить на тот свет, не составляет двенадцать боевых единиц буржуазного общества, потому что элементы, составляющие буржуазное общество, не являются боевыми единицами. Эти элементы абсолютно пассивны, поэтому и «битва» здесь происходит не с представителями буржуазного общества, но с условностями социального порядка в их совокупности, на которых это общество основано, В общем, социальные условности — это не люди, по которым можно стрелять… Ты понимаешь? Здесь нельзя провести аналогию с каким-нибудь сражением, в котором солдат одной армии убивает двенадцать вражеских солдат, и если искать сравнение, то верной будет другая ситуация — в которой солдат убивает двенадцать мирных граждан враждебного государства. И это совершенно бессмысленное убийство, потому оно не наносит ущерба армии противника… Поэтому я не мог остановиться на том, чтобы *уничтожить* социальные условности, ни полностью, ни частично. А значит, мне оставалось только одно решение — подчинить социальные условности и победить их, лишив способности действовать.

Здесь он поднял правую руку, и резко выставил в мою сторону указательный палец.

— Именно так я и поступил!

После этих слов он опустил руку.

— Я решил выяснить, какая из социальных условностей является первейшей и наиболее существенной. Именно этот элемент современного общества я должен был подчинить и лишить способности к активному действию. Для нашей эпохи, по крайней мере, этим элементом являются деньги. Как я мог подчинить деньги, точнее власть или тиранию денег? Для этого надо освободиться от их влияния, от их господства, перестав, таким образом, подчиняться им и делая их неспособными активно воздействовать, по крайней мере, на меня. Почему я говорю здесь именно о *себе,* ты понимаешь? Потому что именно себя я должен был освободить от этой власти. Если бы я мог избавить от господства денег всех людей, речь уже шла бы о

полном уничтожении денег, а не о подчинении их. Как я уже говорил, та или иная форма социальных условностей может быть «уничтожена» только вместе со всеми остальными формами и только посредством революции, которая приведет к падению буржуазного строя. Как бы я мог преодолеть влияние денег? Самым простым решением было бы покинуть сферу их влияния, то есть цивилизованный мир. Уйти на лоно природы, питаться кореньями, пить родниковую воду, ходить без одежды, в общем, жить, как дикий зверь. Но в этом не было бы ровным счетом ничего сложного, и это не было бы противостоянием социальным условностям. Это вообще нельзя назвать противостоянием, это — бегство. Конечно, можно сказать, что тот, кто не участвует в сражении, не может его проиграть. Но, по существу, он уже проиграл, именно потому, что не сражался. Я должен был поступить иначе, должен был сражаться, а не спасаться бегством. Каким образом я мог избежать влияния и господства денег, не избегая встречи с ними? Решение здесь возможно только одно — *обладать ими,* обладать ими в таком количестве, которое позволит не чувствовать их влияния. И чем больше у меня будет денег, тем более свободным я буду от их влияния. Когда я понял это, со всей силой моей убежденности в идеалах анархизма, с предельным напряжением умственных сил, — я вступил в нынешний — коммерческий и банковский — период моего анархизма.

Здесь он сделал паузу, чтобы немного унять вновь растущее волнение, с которым он рассказывал мне о своих перипетиях. Затем продолжил, снова взволнованно, но уже не столь сильно.

— Ты помнишь о двух логических затруднениях, которые возникли в начале моей сознательной жизни анархиста?.. Я уже говорил тебе, что в ту пору я разрешил эти затруднения искусственным путем, то есть, скорее чувством, чем разумом. Да, и ты верно заметил, что, с точки зрения логики, тогда эти проблемы остались неразрешенными…

— Да, я помню…

— Затем я сказал, что когда мне удалось найти истинный путь анархизма, эти проблемы были разрешены логическим путем.

— Да, именно так.

— Теперь посмотрим, как эти проблемы были разрешены… Смысл их был таков — работать ради какой-либо цели и не получать при этом никакой *естественной,* то есть эгоистической компенсации — *противоестественно.* И столь же *противоестественно* трудиться ради какой-либо цели, не зная, *возможно ли этой цели достичь.* Проблемы были таковы. Теперь

же обрати внимание на то, как я разрешил их, когда встал на путь, который, после сосредоточенных размышлений, определил как единственно возможный для истинного анархиста… Размышляя и действуя так, я должен был разбогатеть. Здесь очевидна *эгоистическая компенсация.* Общая цель пути — обретение свободы, и, следуя этим путем, освобождаясь от господства денег, *я становился свободным.* Да, таким образом я добивался свободы только для самого себя, но, как я уже говорил, свободы для всех можно достичь только посредством революции, которая уничтожит социальные условности, а устроить революцию один человек, конечно, не может. Схема здесь предельно проста: моя цель — свобода, и так я обретаю свободу; такую, которая мне доступна, а к невозможному я и не стремлюсь… И заметь — кроме того, что такой образ действий можно признать единственно верным посредством умозрительного рассмотрения предмета, тот факт, что он автоматически разрешает все логические проблемы, которые можно противопоставить анархизму, является несомненным доказательством его истинности.

Итак, я выбрал этот путь. Я решил разбогатеть, чтобы подчинить себе главную социальную условность — деньги. И преуспел. Конечно, я потратил на это какое-то время, и сражение было непростым, но я победил. Я не стану тебе рассказывать, как я стал успешным банкиром и коммерсантом. Это, пожалуй, могло бы быть небезынтересно, но прямого отношения к нашей беседе не имеет. Я боролся, трудился, зарабатывал деньги; затем снова боролся, снова трудился, снова зарабатывал деньги; в конце концов, я разбогател. Признаюсь, я не был очень избирателен в средствах, прибегал к различным хитростям финансового мира, и даже к тому, что можно назвать конкуренцией вне закона. Да, это так! Я боролся с аморальными, антиморальными условностями, и что же — я должен был при этом соблюдать моральные нормы?! Я боролся против тирании, боролся за свободу, и должен был выбирать оружие? Те анархисты-идиоты, которые стреляют и бросают бомбы, прекрасно понимают, что делают — они убивают, а ведь их доктрина не предполагает смертную казнь. Они борются преступлением против аморальных условностей, потому что считают, что цель в данном случае оправдывает средства. Я назвал этих анархистов идиотами, потому что они выбрали совершенно неверный, контрпродуктивный путь, который не приведет их к осуществлению идеалов анархизма. Но с точки зрения морали такой принцип можно назвать разумным. Поэтому и выбранный мной путь я считал верным, и, будучи анархистом, использовал все средства для того, чтобы разбогатеть. Теперь я

могу сказать, что эта частная прагматическая цель — достигнута. Я свободен. В рамках возможного я могу исполнить все свои желании. Моим стремлением было — обрести свободу, и вот — я свободен; по крайней мере, настолько, насколько это возможно в нашем несовершенном обществе. Я хотел сражаться с пагубными социальными условностями и вступил в сражение с ними; более того — победил их.

— Постой, постой, — сказал я. — Все это, конечно, замечательно, но ты, кажется, упускаешь из виду одну важную вещь. Ты говорил, что твоя задача состояла не только в том, чтобы стать свободным, но и в том, чтобы не создать при этом *новой тирании.* А разве может быть так, чтобы коммерсант, торговец, банкир, который не особенно разборчив в выборе средств, не создавал тирании? Ты точно так же стал источником тирании, как и все остальные представители социальных условностей, против которых ты якобы сражался.

— Нет, мой дорогой друг. Никакой тирании я не создавал. Тирания, которая могла возникнуть вследствие моей борьбы против социальных условностей, не исходит от меня и создана была не мной. Она заключена в самих *социальных условностях, к которым я не прибавил ничего.* Кроме того, я и не мог и не собирался полностью уничтожить эти условности. Много раз я уже говорил и готов повторить снова — только революция может *уничтожить* социальные условности. Более того, даже наиболее совершенный процесс достижения анархизма, в частности — осуществленный мною, может лишь подчинить социальные условности, и подчинить их лишь в отношении того анархиста, который осуществляет этот процесс. Речь не идет о том, чтобы не создавать тирании: задача в том, чтобы избежать *новой тирании,* такой, *которой прежде не существовало.* Анархисты, которые работают вместе, создают тиранию в своей среде помимо и вне социальных условностей. *Это и есть новая тирания.* И к ней я не имею никакого отношения. Я просто не мог ее создать в силу *основных условий моей работы.* Нет, мой друг, я создавал только свободу. Я освободил себя. Да, только себя самого, но выбранный мной путь к анархизму, который, как я уже доказал, является единственно верным, не позволял мне сделать большего. Кого мог освободить — я освободил.

— Хорошо… Допустим… Но посуди сам… Неужели ты хочешь сказать, что люди, которые являются носителями социальных условностей, не повинны в том, что эти условности влекут за собой тиранию?

— Именно это я и хочу сказать. Тирания происходит от социальных условностей, а не от людей, которые эти условности

воплощают. Эти люди, скажем так, всего лишь средство, которым пользуются социальные условности, чтобы установить свою тиранию, как, например, нож, которым пользуется убийца… И я не думаю, что ты считаешь возможным искоренить всех убийц, уничтожив все ножи… Ты можешь уничтожить *всех* капиталистов во всем мире, но тем самым ты *не уничтожишь капитал*… Уже на следующий день, капитал продолжит строить свою тиранию, изменятся только средства — появятся другие люди. А вот если ты уничтожишь сам капитал — сколько после этого останется капиталистов?.. Понимаешь?..

— Да, пожалуй, ты прав.

— О, если бы ты и мог обвинить меня в чем-то, то самая большая, самая страшная моя вина была бы лишь в том, что я своей работой увеличил — всего на одну крупицу, не более того — действие социальных условностей. Но это было бы абсурдно, потому что тирании, которой я не должен был создавать, я и не создавал. Здесь, впрочем, есть еще одно слабое место — ситуация похожа на ту, в которой генерала можно обвинить в том, что он перенес театр военных действий на территорию своей страны, и тем самым пожертвовал своими людьми, чтобы добиться победы. Но — на войне, как на войне. Здесь превыше всего главная задача, остальное…

— Хорошо… Но есть и еще один аргумент… Истинный анархист хочет свободы не только для себя, но и для других… Насколько я понимаю — для всего человечества…

— Именно так. Но, как я уже говорил, для истинного анархиста есть только один верный путь — освободить самого себя. Я так и поступил, и сделал это в равной степени как для себя самого, так и для общего дела. Почему же другие — мои товарищи — не сделали то же самое? Если бы я им в этом помешал, это было бы преступлением с моей стороны. Но я ничего подобного не делал. Более того, я даже не скрывал от них того, как я вижу истинный путь к анархизму. Как только я обнаружил его, я рассказал о нем всем, кому мог. Сама природа этого выбора, этого пути не позволяла мне сделать больше. Что еще я мог сделать? Заставить их сделать правильный выбор? Даже если бы это было в моих силах, я не стал бы этого делать, потому что это означало бы, что я лишаю свободы других людей. А это противоречит моим идейным принципам, я анархист. Помочь им? Нет, этого я тоже не мог, и по той же самой причине. И никогда не помогал и не помогаю никому, потому что таким образом, я — по крайней мере отчасти — покушаюсь на свободу тех, кому помогаю. И это также — противоречит моим принципам. Получается, что ты осуждаешь меня за то, что я —

всего лишь один человек, и не более того. Но почему, почему ты осуждаешь меня за то, что я исполнил свой освободительный долг настолько, насколько это было в моих силах? Почему ты не осуждаешь других, — тех, кто свой долг не исполнил?

— Ну да, понятно. Но ведь те, другие, не сделали того, что сделал ты, лишь потому, что были не столь умны, или, может быть, потому что не обладали столь сильной волей, или…

— Да, мой дорогой друг, но ведь это уже не имеет отношения к социальному неравенству, это неравенство, установленное самой Природой… А это уже к анархизму никакого отношения не имеет. Умственные способности и сила воли, данные тому или иному человеку, — это уже вопрос, в котором человек один на один с Природой; здесь социальные условности уже совершенно ни при чем.

Есть природные качества, которые, как можно предположить, извращены долгим пребыванием человека в среде социальных условностей, но это извращение затрагивает не характер тех или иных качеств, а способ их применения. Поэтому ни глупость, ни слабоволие не являются следствием социальных условностей. От последних зависит только то, как эти качества воплощаются. Отчего я и говорю, что это уже полностью во власти Природы, и от человеческой власти никак не зависит. Какие бы ни происходили социальные изменения, глупость и безволие все это не затронет, так же как не сделает меня выше ростом, а тебя ниже…

Не может быть… не может быть, чтобы в случае всех этих «товарищей» наследственная извращенность естественных качеств зашла так далеко, что достигла самых сокровенных глубин личностного устройства… Да, если человек рождается для того, чтобы быть рабом, если рабство для него — естественное состояние, вследствие чего он просто не способен на какое-либо усилие ради обретения свободы… Но в этом случае… в этом случае, какое отношение он имеет к свободному обществу, или вообще к свободе?.. Если человек рожден для того, чтобы быть рабом, свобода, будучи совершенно противоестественной в этом случае, станет для него — тиранией.

После этих слов возникла небольшая пауза. Затем я громко рассмеялся.

— И вправду, — сказал я, — ты анархист. Самый настоящий анархист, по всем статьям. Забавно. Это смешно даже после всего того, что я сейчас услышал. Сравнить тебя и тех анархистов…

— Мой дорогой друг, я уже сказал тебе, доказал тебе, и готов повторить… Разница здесь только в том, что они анархисты лишь в теории, я же анархист практикующий, они мистики, а я подхожу

к делу, руководствуясь научными принципами, они — конформисты, а я — вступаю в сражение и освобождаю… Иначе говоря — они псевдоанархисты, а я — настоящий.

И после этих слов мы встали из-за стола.

Лиссабон, январь 1922 г.

Перевод АНТОНА ЧЕРНОВА

Декоративная хроника I

Обстоятельство вполне естественное — а именно, участие моих друзей — привело к тому, что вчера мне случилось познакомиться с доктором Боро из Университета Токио. Почти неоспоримая реальность его присутствия поразила меня. Я никогда не предполагал, что профессор Университета Токио может быть реальным — существом или хотя бы предметом.

Доктор Боро — немало усилий мне нужно приложить, чтобы назвать его доктором — явился передо мной в невероятно человеческом облике и как будто даже ничем не отличался от нас. Его появление было столь ошеломительным, что мои представления о Японии с трудом выдержали такое испытание. На нем был европейский костюм и в довершение всего еще и пальто, так что я вполне мог принять его за какого-нибудь заслуженного профессора из Лиссабона. И, наконец, на протяжении всей нашей беседы, которая продлилась два часа — он вел себя, как человек весьма осведомленный во всем, чего касался наш разговор.

Здесь я должен заметить, что мои представления о Японии, о ее флоре и фауне, народе и формах общественной жизни, имеют в своем основании тщательное изучение нескольких чайников и чашек. Поэтому мне всегда казалось, что японцы и японки существуют только в двух измерениях, и сама мысль о реальности пространства, а тем более экономики в этой стране произвела на меня болезненное впечатление. Профессор Боро оказался очевидно материальным. У него даже была тень, самая обычная тень, я не раз проверил это внимательным взглядом. И кроме того, что он постоянно говорил по-английски, ему еще удавалось вкладывать в свои слова совершенно понятные мысли. А то, что в этих мыслях не было ровным счетом ничего нового или замечательного, делало его еще более похожим на европейских, ужасающе европейских, известных мне профессоров.

Наконец, оказалось к тому же, что профессору Боро совершенно несвойственна неподвижность фигур, нарисованных на фарфоровой посуде. Это разочаровало меня до крайности и было уже совершенно банальным.

Мы говорили о международной политике, о европейской войне, о некоторых явлениях современной литературы. При этом выяснилось, что профессор Боро ничего не знает о футуризме. И это было единственным фактом, который позволял хотя бы немного усомниться в реальности его существования. Хотя — с другой стороны — много ли профессоров, которые следят за

новейшими явлениями в современном искусстве?

Наверное, в свете всего вышесказанного можно подумать, что мне очень хотелось задать профессору Боро тысячу вопросов о Японии. Но нет, мне не хотелось. Ведь тогда он, наверное, мог бы обрушить на мое незнание тысячу ложных утверждений. Кто знает, может быть, он даже осмелился бы утверждать, что в Японии есть экономические проблемы, какие-нибудь еще трудности, есть настоящие города, в которых есть магазины, есть поля, на которых собирают такой же урожай, как у нас, армия, такая же, как в европейских странах, снабженная новейшими видами оружия, разработанными в соответствии с последними достижениями науки. А может, — хотя подобного цинизма я даже и представить себе не могу — ему бы даже пришло в голову утверждать, что мужчины в Японии имеют половые отношения с женщинами, что у них еще к тому же рождаются дети, и что все эти люди вместо того, чтобы всегда быть одетыми, как фигурки на фарфоровой посуде, одеваются и раздеваются, точно так же, как и в Европе. Поэтому о Японии мы не говорили. Вместо этого я спросил, доволен ли профессор своей поездкой, не была ли утомительной дорога. На что он взял и ответил мне, что не вполне доволен. Как будто мне, ученому, специалисту по японскому фарфору, могло прийти в голову, что японец, представитель утонченнейшей нации, который даже не считает необходимым утруждать себя существованием, стал бы еще и путешествовать. Фарфоровые чашки не путешествуют со всеми неудобствами долгой дороги. Буря и шторм им не страшны, ведь их просто отправляют по месту назначения. А фраза «*буря* в стакане воды», а тем более «в чашке», как говорят некоторые — это явление сугубо европейское.

Но самым неприятным (и случайным, как я хотел бы думать) был следующий эпизод нашей беседы с профессором Боро.

Мы говорили о влиянии механизмов на психику рабочего — я, конечно, не без некоторого пренебрежения, поскольку понятно же, что никакой психики у рабочих не бывает. И тут началось невероятное — профессор Боро сказал что-то об индустриальном развитии Японии, а потом еще (кажется) о рабочем движении, и затем (если я не ослышался) о том, что недавно был приговорен к расстрелу какой-то лидер социалистической партии. Некоторое время назад в юмористической, очевидно, газете была напечатана телеграмма об одном событии в этом роде. Но, кроме того, что я не верю в телеграммы из Токио, поскольку этот город существует только в двух измерениях, я готов утверждать, что ни один человек, подобно мне изучивший психологию японцев на материале чашек и блюдец, никогда даже не подумает

предположить, что в Японии существуют такие плоды прогресса, как заводы, социалистические партии и социалистические лидеры, тем более еще и расстрелянные, как будто настоящие, европейские. Ни один человек, столь же глубоко, как я, знающий Японию, настоящую Японии — фарфоровую — не останется равнодушным к нелепой несовместимости прогресса, индустрии и социализма с этой совершенно не существующей страной. Японские социалисты! Какая бессмыслица! С таким же успехом можно было бы сказать «квадратный круг». Как будто даже несуществование не спасает от социализма. Эти утонченные фигуры, с вечной неподвижностью сидящие у стен своих маленьких домов, или на берегу невероятно, абсурдно голубого озера, на фоне нереальных гор, эти чудесные фигуры, с такой совершенной, патриотически японской индивидуальностью, конечно же, не имеют ничего общего с миром, в котором совершается прогресс, и где художник подчинен мертвым требованиям производственной необходимости или варварству научного мировоззрения.

И вот все мои представления о Японии пришел разрушить профессор Боро из Университета Токио! Но нет, ничего не выйдет. Не для того я потратил столько минут рассеянного научного созерцания, бессмысленно разглядывая чайники и чашки, чтобы теперь отказаться от всего этого из-за первой попавшейся реальности. Уж я скорее поверю, что этот Боро родился в Лиссабоне, и зовут его Жозе. А в то, что он — из Японии? Никогда.

Если бы мне показалось японским хотя бы его лицо. Но нет, нисколько. Уже потому, что оно совершенно точно существовало — во всех известных мне (по крайней мере, трех) измерениях. В чем я постоянно убеждался на протяжении двух злосчастных часов. Да, профессор Боро действительно был похож на тех «японцев», фотографии которых печатались некоторое время назад в наших журналах, а иногда встречаются в них и сейчас. Но любой, кто знает Японию, ни разу там не побывав, конечно, понимает, что это никакие не японцы. Кроме того, обычно это фотографии каких-нибудь генералов, адмиралов или фотохроника какой-нибудь военной операции. Но ведь всем известно, что в Японии не бывает ни генералов, ни адмиралов, ни военных операций. Каким же образом, в конце концов, можно сфотографировать Японию и японцев? Самое очевидное и реальное, что можно утверждать в отношении Японии, — это то, что она всегда находится где-то далеко от нас, а мы — всегда там, где мы есть. И никто из нас не может поехать в эту страну, и оттуда никто не может приехать к нам. Допустим, я еще

соглашусь признать, что существует какое-нибудь Токио или какая-нибудь Иокогама. Но все это точно — не в Японии и даже вообще не на Дальнем Востоке.

Всю оставшуюся жизнь я готов посвятить тому, чтобы заставить себя забыть профессора Боро, и то, что он — полный абсурд! — сидел здесь, напротив меня, на этом настоящем деревянном стуле. Мысль об этом досадном, и к тому же, вероятно, иллюзорном, происшествии причиняет мне беспокойство, и я готов со всем усердием, на которое только способен, постараться изгнать его из памяти. Настоящий японец, здесь, беседует со мной, да еще и не говорит ничего нелепого и противоречивого! Нет. Он точно из Лиссабона, и зовут его Жозе. Впрочем, это, конечно, фигуральное выражение. С таким же успехом можно сказать, что его имя Маквиски и родом он из Инвервенесса. Определенно утверждать здесь можно только одно — он не настоящий японец, приехавший с визитом в Лиссабон. Если бы я согласился с этим, мне пришлось бы также признать, что всю нашу науку, все наши тщательнейшие исследования может перечеркнуть и опровергнуть первый попавшийся случайный проходимец.

Профессор Боро, из Университета Токио? Из Токио? Университет Токио? Но ведь ничего подобного не существует. Все это не более, чем иллюзия. Люди неразвитые и неумные придумали себе для удобства такую Японию — созданную по образу и подобию Европы, этой несчастной Европы — безнадежно реальной. Мечтатели! Жертвы иллюзий!

Мне достаточно всего один раз взглянуть на этот чайный сервиз, и сразу станет понятно, что все разговоры о реальной Японии, о коммерческой Японии, о военной Японии — не более чем вздор. Как будто напрасно лучшие представители нашей эпохи трудились для того, чтобы она могла называться научной. Настоящие японцы, живущие в трех измерениях, у которых есть своя земля, свои пейзажи?! Все это басни для простого народа. А тех, кто долго и старательно постигал науку — не обмануть…

Перевод АНТОНА ЧЕРНОВА

Декоративная хроника II

Сегодня мне стало известно, что Персия действительно существует. И эта новость мне не понравилась. Я думал, что Персия — это такое специальное название, которое придумали, чтобы говорить о красоте узоров на некоторых коврах. И вот, как говорят, один современный исследователь сделал открытие — Персия существует. И хотя современные исследователи, как и все ученые, более, чем другие люди, склонны к различного рода заблуждениям, один знакомый журналист сказал мне недавно, что этому открытию можно доверять. Но если это действительно правда (я все же еще сомневаюсь в этом), хотелось бы знать, как мы теперь будем называть персидские ковры. И какое теперь, кстати, наименование будет у персидской поэзии.

В связи с этим открытием я хотел бы высказать свое мнение о том агрессивном, можно сказать, наступлении науки, которая вторгается в наше мировоззрение. Ведь если продолжать в том же духе, можно и Южный полюс признать реальным и существующим. Да что там полюс, если дальше так пойдет — недалек день, когда мы будем думать, что стоит нам лишь вообразить какую-нибудь средневековую королеву, и она тут же постучится в дверь нашей современной реальности, или пошлет служанку известить нас о своем прибытии.

Один мой друг, которому, впрочем, я не особенно доверяю, поскольку он человек образованный, рассказывал мне, что в какой-то книге Гюйо[7] упоминается некий Ките. И этот Ките, якобы, что-то нехорошее говорит о Ньютоне, а именно, о том, что этот последний открыл какой-то закон. Что-то связанное со звездами. В моем описании всего этого есть некоторая неясность. Но происходит она лишь от того, что я не имею ни малейшего понятия о законах и открытиях Ньютона. И важно здесь другое — то, что сказал Ките. В его словах, несомненно, есть рациональное зерно. Неверно только их, скажем так, применение. Ничего дурного нет в том, чтобы открыть какой-нибудь закон о движении звезд. Звезды были видны всегда. И ближе они не станут — кто бы там что ни открыл. Тем более, что это открытие имеет математический, то есть — совершенно неправдоподобный характер, а значит, его можно признать злом неизбежным, но в то же время и не особенно страшным.

Едва ли хотя бы один человек, твердый духом, станет отрицать, что всяческие лаборатории стали постыдным пятном на совести нашей цивилизации. Очевидно и то, что опасная легкость прогресса, сделавшего столь быстрым передвижение через леса и

поля, которые издавна были вотчиной разбойников и грабителей, а также то, что современная цивилизация искоренила институт пиратства — есть не что иное, как печальные последствия Французской революции и разгула анархии. Но вместо того, чтобы насторожиться из-за такого недостатка дисциплины и порядка, который совершенно противоречит здравому смыслу и святому правилу святого Фомы Аквинского — *eadem res generatur et conservantur in esse*[8] — мы потакаем нездоровому пристрастию к разного рода сенсациям, а также — болезненной склонности к тому, чтобы верить журнальным статьям. И все это вместе взятое породило в итоге такое небывалое развитие науки.

Сейчас мы еще не вполне осознаем, какие последствия может повлечь за собой слабость наших демократических институций. Пока существенных последствий не много, за исключением разве что таких не вполне бесспорных фактов, как открытие Северного полюса, и вот теперь подтверждения того, что Персия действительно существует. Но если мы внимательнее посмотрим на то, что могут повлечь за собой эти факты, несомненной и очевидной станет их опасность, незаметно, но стремительно растущая день ото дня.

Нам необходимо, и как можно скорее, организовать Антинаучную Лигу, которая будет отстаивать и защищать, с каждым днем все чаще подвергающееся агрессии, непреложное право не открытых земель оставаться не открытыми, а не существующих стран сохранять нейтралитет и не вступать в воинственную реальность. И, конечно, создание такой организации ни в какой степени не будет противоречить принципам либерализма. Ведь даже английская либеральная партия — которая, как известно, является символом либерализма — почти никогда (за исключением, разумеется, случаев, в которых речь идет о национальных интересах) не считает возможным вмешиваться в жизнь других стран, полагая такое отношение к предмету существенным слагаемым своей доктрины. Доктрины, которая в то же время является чистейшим, более того, — священным принципом, оберегающим Традицию, Порядок и Общественную Дисциплину.

И вот теперь в нашей политике стали проявляться первые следствия так называемой революционной тактики. Какая-то группа душевнобольных выступила с инициативой внедрить в нашу государственную систему монархический строй. Таким образом эти странные люди, не утруждая себя излишними размышлениями, хотят насильственно изменить саму природу монархии, которая не может быть некрасивой и лишенной энтузиазма, а значит не может перейти границы прошлого,

оберегающего ее от всех страстей и волнений человеческой сентиментальности. Более того, эти люди восстают против самого священного принципа, согласно которому Традиция всегда должна оставаться под защитой прошлого, вдали от агрессивных притязаний современности.

Нынешнее положение вещей — прискорбно. И никто не думает о грядущем, о том, что принесет нам завтрашний день. Некоторые, кажется, полагают, что он уже наступил, и что это было вчера. И так проходят наши печальные, томительные дни — в сомнениях и тоске.

Теперь нам необходимо действовать решительно. Повсюду распространились поветрие революционных идей и научное мышление — или лучше сказать разгул научного мировоззрения — которые неукротимо стремятся к своей цели — поработить реальность. Вчера стало известно, что Северный полюс обнаружен и действительно существует. В душе каждого хранителя Традиции эта новость пробудила беспокойство. Сегодня до нас дошло известие о том, что открыта Персия. Каждый, для кого слово Традиция — не пустой звук, едва сумел сдержать слезы, когда услышал об этом. И на весах, которыми мерят все на свете эти пытливые ученые, красота стихов какого-нибудь Хафиза, или там Руми, или Омара Хайяма не весит ничего. И никому никакого дела нет до того, что эти прославленные мужи Прошлого сделали свою страну великой, вымышленной и нереальной. Для демагогов нашего времени нет ничего святого. И что еще может прийти им на ум? На что еще могут осмелиться они? Ведь если так пойдет, рано или поздно они скажут нам, что и Христос на самом деле существовал, что Римская Империя — это тоже часть реальности, что политические баталии Греции — не вымысел, а подлинные исторические события. Над чем же еще захотят надругаться эти варвары нашей эпохи?

Но эти мои слова, этот крик, едва ли будет услышан. Я понимаю это. Никогда не будет создана Антинаучная Лига. Никто не возвысит свой голос в согласии с моим — против нашествия этих разрушителей общества. Весь мир, как и прежде, останется отданным на милость «прогресса» и «науки». И теперь — отныне и впредь — у нас уже не будет персидских ковров. Не будет картин с видами Южного полюса. И так со временем мы лишимся китайского шелка и японской посуды. Вообще всего необходимого для жизни, которая все больше будет напоминать животное существование, мельтешение насекомых, или, по крайней мере, дикий мир каких-нибудь индейцев чероки.

Поэтому я хочу, чтобы мудрец, который через десять лет будет изучать нашу стертую с лица Земли цивилизацию, эту эпоху

разрушения и упадка, читая мои строки, понял, что во всех этом хаосе, звучал все же один голос в защиту Традиции и Порядка, что не все были поглощены этой дикой волной, не все уступили трусости и осквернили себя постыдным соглашательством.

Перевод АНТОНА ЧЕРНОВА

Шелковая роза (сказка)

Однажды люди найдут и прочитают эту сказку:

В одной далекой от всего на свете стране жила кружевница. И вот как-то раз королева приказала ей вышить на шелковой ткани листья и белую розу. Кружевница была очень юной, не много роз она видела в своей жизни. И поэтому, везде, где только могла, начала она искать ту самую прекрасную белую розу, которая стала бы прообразом ее работы. Но все розы, которые она встречала, оказывались или не столь красивы, или не столь белоснежны, и ни одна из них не могла сравниться с той, которую должна была вышить она на шелковой ткани. И так — в поисках самой лучшей розы — проходили ее печальные дни, ведь она знала, что в ее родном королевстве, как и в любой другой сказочной стране, кружевницу, которая не сможет вышить на шелковой ткани самую прекрасную розу — непременно казнят.

И вот, когда она поняла, что самой прекрасной розы ей не найти, она сделала свою по памяти — припоминая все те прекрасные цветы, которые ей встречались. А потом, закончив работу, она взяла свою розу и стала сравнивать ее с теми настоящими розами, которые видела в садах и в парках. И оказалось, что ее цветок похож на все красивые розы, которые встречались ей прежде.

А потом она отнесла свою розу во дворец. Там ее, наверное, увидел юный принц. И решил жениться на ней.

Когда люди прочитают эту сказку, они не найдут в ней никакой морали. Потому что в сказках золотого века никакой морали и не было.

Перевод АНТОНА ЧЕРНОВА

ООО Фирма, поставляющая мифы

— Пришел, — сказала служанка, — какой-то человек. Он хочет поговорить с вами.

— Он не представился? — спросил я.

— Он дал свою визитную карточку, — сказала она безжалостно.

Я взял визитную карточку, и то, что я на ней прочитал, заставило меня выпрямиться на стуле вопреки всем правилам, которых я придерживался на протяжении моей нерешительной жизни.

Вот что гордо значилось на визитной карточке:

ООО ФИРМА, ПОСТАВЛЯЮЩАЯ МИФЫ

А внизу было, как обычно, написано

«Представитель фирмы…»

— Этот человек спрашивал меня? — осведомился я.

— Он спросил хозяина…

— Хорошо, пригласи его войти…

На визитной карточке не было указано ни адреса, ни другой дополнительной информации.

Уличный торговец или коммивояжер вошел в мой кабинет с той уверенностью, которая свойственна его классу. Он отличался от своих собратьев, которых мне довелось видеть, отсутствием чемодана и улыбки. Он церемонно поздоровался, слегка наклонив голову. Я взглядом указал ему на стул. Он сел и какое-то время пристально смотрел на меня.

— Чего изволите?.. — едва смог я спросить.

Он слегка нагнулся ко мне и начал излагать цель своего визита монотонным голосом, но эта монотонность была не лишена приятности.

— Прежде чем во всех необходимых подробностях объяснить природу и свойства товаров, которые я могу предложить, я бы хотел кратко рассказать вам, если позволите, о причинах, что побудили, во-первых, основать торговый дом, представителем которого я являюсь, а во-вторых, к научно обоснованному и скрупулезному производству качественной продукции.

Я дал ему неопределенный знак продолжать, понимая только, что пока что я ничего не понимаю.

Какое-то время мой посетитель внимательно смотрел в пол,

но вскоре вновь поднял голову.

— Общество состоит из трех ступеней. На первой работают создатели мифов, это настоящая аристократия. В частности, есть создатели и преобразователи мифов — это люди, обладающие гением и талантом, для них каждое слово имеет гораздо большую ценность, чем мы думаем. На второй ступени <…>[9] Солдат, сражающийся за Наполеона, чувствует, что его жизнь шире и значительнее, чем жизнь человека, который ничего из себя не представляет и сам себя не знает.

— В таком случае зачем выступать против современных революционных и радикальных мифов?

— Потому что они отрицают свою мифическую природу…

— Но ведь любой миф, чтобы обрести силу, должен выдать себя за правду. Нет христианина, который бы считал христианский миф мифом.

— Это не совсем так… революционные мифы стремятся разрушить единственно существующую реальность — разделение на классы. В этом и заключается их бесполезность и их социальная ложь. Это в порядке вещей, что одна аристократия восстает против другой. Но чтобы не было никакой аристократии…

— Но ведь может восстать рабочая аристократия во имя своих собственных радикальных мифов…

— На самом деле она не восстает, но считается, что да… К тому же работа не может быть мифом, потому что это реальность. Да, производить — значит создавать реальность, то есть создавать абсолютно бесполезные вещи. Миф — это создание несуществующей реальности — полезных, живых вещей, которые длятся и продолжаются. Из всех современных индустрий, — сказал он, — является эмпирической только политическая индустрия, хотя она и создается в широких масштабах. Естественный путь изобретений, а наше время — это определенно время изобретений, — это поиск научных форм и процессов, порожденных этими формулами, которые уничтожат эмпиризм, грубую технику, представляющую собой первую и неизбежную стадию любого искусства или любой индустрии. По какой причине еще никто не вспомнил, что нужно ввести науку и рациональную технику в политический эмпиризм, чтобы уничтожить его и усовершенствовать политику? По той простой причине, что этого еще никто не вспомнил. Даже первый, кто должен был об этом вспомнить, не сделал этого. Так вот, моя фирма первой заметила, что еще свободна сфера изобретений в политической индустрии. Моя фирма изобрела технические процессы этой индустрии.

И он исчез, без чемодана и все так же без улыбки, с моего узенького горизонта.

Перевод ВИКТОРИИ КОКОНОВОЙ

Филателист
(О тщетности советов)

Я не даю советов. Я собираю марки. Чтобы давать советы, необходима абсолютная уверенность в том, что они хорошие, а для этого необходимо быть уверенным (а вполне никто не уверен), что знаешь истинное положение вещей. К тому же, надо знать, подходят ли эти советы тому, кому они даются, а для этого нужно знать всю его душу, что невозможно. Кроме того, способ советовать должен точно подходить этому человеку; иногда дают такой совет, что даже если ему последовать, то, в сочетании с чертами характера человека, он не приведёт к желаемому результату. Только очень наивные люди дают советы.

То, что мы считаем правдой, всего лишь самое вероятное или самое невероятное из разных возможностей. Так, любой индивид, сколь бы он ни был уверен в этом, не может поклясться, будучи в здравом уме, не только в том, что некий человек мужского пола является его отцом, но также и в том, что другой человек женского пола является его матерью. Чтобы верить, что тот, кого он считает своим отцом, действительно им является, самое большее, что у него есть — это предположение, что его мать никогда не изменяла мужу. Чтобы знать, что некто является чьи-то отцом, необходимо было бы присутствовать при зачатии, проверить фертильность — в случае, если есть сомнения <…> — и даже в этом случае осталось бы понятие отцовства как такового, чтобы окончательно запутать дело. Что касается того, что человек не может утверждать, что такая-то женщина является его матерью, — кто сказал, что рождённого ею младенца мужского пола не подменила другим новорождённым, к примеру, кормилица? Можно сказать только, что это недоказуемо — или, скорее, что это менее доказуемо, чем обратное. Но полной уверенности нет.

То, что мы называем *правдой,* не есть уверенность, это то, что является наименее недоказуемым и охватывает большее количество вероятностей. Достаточно лишь приоткрыть дверь сомнению. А приоткрытая дверь, не будучи дверью закрытой, — открыта. И сомнение входит.

Утверждение, что мир может быть попросту нелогичен, уязвимо, поскольку пытается объяснить нечто тем, что «этому нет объяснения». Потому что не может быть мир логичным или нелогичным. А почему не каким-нибудь ещё или вообще никаким?

Три беды человека:

Действие.

Мысль.

Чувство — необходимость чувствовать что-то по тому или иному поводу.

Сомнение — это уверенность в неуверенности.

Чувства как таковые, возможно, излишни.

Три иллюзии человеческих поступков:

— мысль — иллюзия возможности объяснять и решать.

— чувство — иллюзия оценки; человек должен чувствовать что-то в связи с чем-либо.

— воля — действовать для достижения цели.

— нам известны лишь наши страсти.

Как понять мотив поступков? Критерии мышления?

Перевод МАКСИМА ТЮТЮННИКОВА

Автомобиль стал исчезать

Я расскажу, как все было (сказал грустный человек, у которого было веселое лицо), расскажу, как все было…

Когда у меня есть автомобиль, я его мою. Мою по разным причинам: ради физических упражнений, чтобы развлечь себя, чтобы он не был грязным.

В прошлом году я купил себе ярко-синий автомобиль. И стал мыть. Но каждый раз во время мытья он упорно пытался исчезнуть. Синий бледнел — зато синели я и замшевая тряпка. Не смейтесь… Тряпка, действительно, синела: мой автомобиль весь «перетекал» в нее. В конце концов я подумал, что не мою его, а растворяю.

Год еще не прошел, а мой автомобиль уже сверкал металлом — словно кровь вся вытекла. Синий цвет перешел в тряпку. Однако мне не было смешно от такого переливания голубой крови.

Я понял, что машину нужно снова красить.

Итак, я решил немного разобраться в свойствах различных эмалей. Машина сама по себе может быть очень красивой, однако если она покрыта эмалью, которая имеет тенденцию эмигрировать — машина может продолжать служить, а вот покрытие никуда не годится. Краска должна крепко держаться — как волосы, — а не поддаваться внезапному порыву свободы — как парик. Выходит, краска на моей машине была как парик: сходила при первом прикосновении.

Я подумал: кто из друзей наиболее сведущ и на кого я могу положиться в выборе достойной эмали? Я вспомнил о Баштуше — мойщике автомобилей на Авенидаш Новаш. Он всю жизнь трет машины и должен знать, что стоит тереть, а что нет.

Я нашел его и сказал: «Баштуш, дружище, я хочу покрасить свой автомобиль. Хочу покрыть его стойкой эмалью, чтоб она хранила верность моему авто и не разлучалась с ним. Какую эмаль лучше выбрать?»

«BERRYLOID, — ответствовал Баштуш. — Только полному невежде придет в голову тащиться сюда и надоедать мне с расспросами, на которые ответит первый попавшийся шофер, отличающий автомобиль от консервной банки».

«Отлично…»

«Чем же покрывать машину, — продолжал Баштуш, не обращая на меня ни малейшего внимания, — как не эмалью, которая блестит и одновременно долговечна? И, к тому же, ее легко наносить… Да, о том, что легко наносить — это ко мне,

однако я своим добром не разбрасываюсь… Уходите!..»

«Ну что ж…» — ответил я.

«Эти нитроцеллюлозные эмали, — продолжал Баштуш, похлопав меня по плечу, — не продаются в розницу. С ними связана одна нудная вещь, которая называется „наука“. Знаете, что это? Но она нудная для тех, кто готовит краски — а для нас, кто их получает уже готовыми к употреблению, — это сплошная радость и удовольствие. Эта BERRYLOID — долгосрочный продукт, изготовлена в первой лаборатории красок, лаков и лакокрасочной продукции. Понятно? Это не первый продукт, который появился на рынке — потому что быть первым хорошо, когда стоишь в очереди, а не когда речь идет о красках и лаках, требующих исследований и опытов. Нет, в красках и на практике последнее слово — первое».

«Мой дорогой Баштуш…» — сказал я.

«Только BERRYLOID», — ответил Баштуш, и повернулся ко мне спиной.

«Я хотел поблагодарить…» — продолжил я.

«Привозите автомобиль», — ответил Баштуш.

Я привез ему автомобиль, и он покрасил его краской BERRYLOID. И ни одна тряпка, дождь или пыль на самой худой дороге не способны осквернить эту стальную эмаль. Да, Баштуш не был со мной приветлив, но он сказал правду: ничто не сравнится с краской BERRYLOID.

… Так, купив себе второй автомобиль, я тут же не поленился выяснить, покрашен ли он краской BERRYLOID. Эта эмаль стоит внизу страницы и в конце моей истории. Она переходит на тряпку, но необходимо использовать темные очки — блеск ослепляет. И, более того, будет ослеплять, потому что краска долговечна.

Моей тряпке тоже нет износу. А вот что не переводится — так это темные очки и похвалы друзей, когда они видят мои авто, покрашенные в BERRYLOID.

Перевод АННЫ ХУСНУТДИНОВОЙ

Великий португалец, или Происхождение «сказки викария» [10]

Много лет назад, где-то в окрестностях Рибатежу жил землевладелец и торговец скотом среднего достатка по имени Мануэл Переш Викарий.

О его *качествах* — как сказали бы практикующие психологи — достаточно говорит то обстоятельство, что он дает начало нашему рассказу.

Как-то раз пришел к нему производитель фальшивых денег и говорит: «Сеньор Викарий, есть тут у меня денежки — купюры по сто тысяч рейсов — нужно сбыть. Не хотите? Отдам по двадцать тысяч за каждую». — «Дайте-ка поглядеть», — ответил Викарий, но тут же, заметив, что они ужасного качества, отклонил их: «Зачем мне это? Ими и слепого не проведешь». Его собеседник, однако, проявил настойчивость, и Викарий, поторговавшись, немного уступил. В конце концов, сошлись на двадцати банкнотах по десять тысяч за каждую и ударили по рукам.

Долго ли, коротко ли, пришлось как-то Викарию расплачиваться со своими братьями, торговцами скотом, как и он сам, по счету на сумму ровно в миллион рейсов. В первый базарный день, когда должен был состояться расчет, обедали его братья в местной таверне — и тут в дверях, еле держась на ногах, появляется пьяный Мануэл Переш Викарий. Садится к ним за стол и просит вина. Спустя какое-то время бессвязной болтовни, он вспоминает, что должен расплатиться. Вытащив бумажник, спрашивает, не будут ли они возражать, если он отдаст всю сумму банкнотами по пятьдесят тысяч. Братья возражать не стали, и поскольку бумажник в это время приоткрылся, более наблюдательный из них заметил, что купюры в нем по сто тысяч, и глазами подал знак другому.

Братья еще раз обменялись взглядами.

Мануэл Переш дрожащей рукой медленно отсчитал двадцать бумажек и протянул их братьям. Один из них, проследив за пересчетом, тут же спрятал деньги и уж больше на них не смотрел, чтобы не выдать себя. Викарий продолжал болтать и выпил еще не один бокал вина. Затем, поддавшись естественному эффекту прогрессирующего опьянения, заявил, что хочет получить расписку. Братьям это показалось странным, однако спорить никто не стал. Викарий собрался сам продиктовать текст — хочу, говорит, чтобы все было, как надо. И надиктовал расписку пьяницы, полную абсурдной пустопорожней болтовни —

о том, как в такой-то день, такой-то час, в такой-то таверне, «когда мы обедали» (и далее обычная пьяная болтовня…), получили они от Мануэла Переша Викария, по такому-то счету, в оплату не знаю чего, сумму в размере миллиона рейсов купюрами по пятьдесят тысяч. Поставили дату, печать, подписи. Викарий сунул расписку в бумажник, немного помедлил, выпил еще вина и через какое-то время удалился восвояси.

И вот пришел день расплачиваться. Человек, собиравшийся взять деньги, тут же возвратил первую купюру — поскольку она явно была фальшивой — и то же самое проделал со второй и третьей… А братья, теперь внимательно присмотревшись к деньгам, увидели, что ими и слепого не проведешь.

Подали они жалобу в полицию, и был вызван Мануэл Переш, который, с удивлением выслушав суть дела, воздел руки к небу и поблагодарил небеса за дальновидность пьянства, заставшего его в день расплаты. Иначе, говорит, я, невиновный, пропал бы.

Он объяснил, что если б не пил тогда, то и расписки не взял бы — и уж точно не такой расписки — и представил ее за подписями обоих братьев, что доказывало факт расплаты банкнотами по пятьдесят тысяч рейсов. «А если б я расплачивался по сто тысяч, — закончил Викарий, — я не был настолько пьян, чтобы выложить двадцать бумажек — а в расписке указано именно это число; и уж тем более они, честные люди, не взяли бы столько». И поскольку слова эти были справедливы, его отпустили с миром.

Однако случай этот не мог оставаться в секрете и мало-помалу распространился. История про «миллион рейсов Мануэла Викария» превратилась в «сказку викария», утеряв свои чудесные корни, но получив бессмертие в повседневной жизни[11].

Все бесславные имитаторы, насколько мне известно, никогда не дотягивали до Мастера из Рибатежу и не могли достойно повторить образцовую стратагему. Поэтому я с нежностью вспоминаю этого великого португальца и, предавшись мечтам, воображаю, что если существует рай для умелых — наподобие известного рая для добродетельных, — там ему уж точно не откажут в теплом приеме настоящие великие мастера Реальности — легкий блеск в глазах Макиавелли или Гвиччардини, мимолетная улыбка Джорджа Сэвила, маркиза Галифакса.

Перевод АННЫ ХУСНУТДИНОВОЙ

Мужья

Люди создают обычаи, и ничто не нравится им больше, чем обычаи, созданные ими. Иначе, наверное, и быть не может. Потом появляются чувства, затем другие чувства, и, в конце концов, повзрослевшие сыновья женятся на нас.

Мужчины думают, что мы любим их по той или иной причине. Но куда там! Никто не знает, почему так получается. Вы можете сказать, что любите того или иного человека поэтому, или потому, или еще почему-то, но все это уже после того, как вы почувствовали, что любите этого человека. А им все равно кажется, что их любят за то, что они сильные, или красивые, или за их голубые глаза, или еще за что-нибудь такое. Но все это здесь не имеет значения, господин судья, хотя и сыграло, наверное, какую-то роль.

Женщины, со всей серьезностью относящиеся к собственному достоинству, люто ненавидят проституток. И неужели вы полагаете, достойнейший господин судья, что причина здесь в том, что для них так важно их достоинство? Причина в том, что они понимают, чего их достоинство их лишает. Это так, господин судья, и, должна сказать вам, что я к этому уважения не испытываю.

Нет ни одной женщины в этом мире, — и самая серьезная из них не исключение, господин судья, — которая не завидовала бы тем, что бродят по улицам в поисках мужчин — ни одной, господин судья. И я говорю это так искренне, как если бы мое сердце лежало вот здесь, на столе, открытое всем.

Человеческая душа — грязная вещь, и хорошо, что она хотя бы ничем не пахнет.

И это, господин судья, чувствует каждая женщина, в чем я готова уверить Ваше Превосходительство и господ присяжных. Одни и сами этого не понимают, и живут, как старые клерки, отдавая всю свою жизнь одной и той же работе; другие понимают и молчат, посвящают свою жизнь детям, потому что их научили быть серьезными — потому что люди учатся быть серьезными так же, как разучивают гаммы. Иные же не могут сдержать влекущую их силу, и, в конце концов, никто не знает — что лучше, что хуже, потому что лучше было бы людям не оценивать поступки других, потому что другие — это не ты, и ты не знаешь, что происходит в душе другого.

И хочется отложить в сторону пряжу и уйти далеко-далеко, чтобы хотя бы поплакать вволю. Эта жизнь, господин судья, — если бы вы только знали, господин судья, что это за жизнь!

Самое худшее в женщине — это недостаток смелости. Мы все еще боимся тех времен, когда суд карал нас строже, чем мужчин. Неужели вы считаете, господин судья, что женщина надевает юбку, укороченную по моде, оттого, что этого просит ее душа? Она делает это, чтобы привлечь мужчин, но вот на что она не осмеливается — это принять их, когда они приходят. А значит, едва ли есть на свете хотя бы одна женщина, которая носит декольтированное платье зачем-нибудь, кроме того, чтобы ее ощупывали мужские взгляды.

Многое, очень многое я должна сказать вам, господин судья, и надеюсь, вы позволите, и господа присяжные позволят мне сказать это. Потому что это правда, господин судья, это то, что я чувствую; это то, что, если разобраться, чувствуем мы все, и я хотела бы сказать всё, господин судья, ничего ни скрывая и не прибавляя.

Первое, что нам вредит — это воображение. Если у женщины нет воображения — она серьезна от природы, она достойная женщина.

Но все мы рождаемся с отзывчивым сердцем, и поэтому обречены чувствовать и страдать.

Все время один и тот же мужчина, господин судья, один и тот же постоянно, у которого всегда одно и то же тело, одни и те же привычки! Каждую ночь, господин судья, на одной и той же кровати — ведь даже кровать всегда одна и та же. И все это, в конце концов, становится не жизнью, и даже не похоже на нее; это что-то между едой и уборкой… О, если бы мужчины знали, что значит страдать! Если бы знали, как омерзительны нам их объятья!

Только убийство могло помочь мне остаться в добром согласии со своей совестью и с законами Церкви.

И поэтому, господин судья, господа присяжные, я убила своего мужа.

Перевод АНТОНА ЧЕРНОВА

Басни для юных народов

Секрет Рима

Сражение закончилось, и когда Цезарь прибыл на поле боя… ему тотчас же показали голову Помпея. По щекам Цезаря покатились слезы, и те, кто стоял рядом, были поражены. Воин, державший в руке отрубленную голову, немного опустил ее. Его сковало удивление, и напряженная рука устала, оттого что отрубленная голова была тяжелой.

— Какова же теперь цена этой победы? — сказал Цезарь.

— Верно, — отозвался тот, кто его сопровождал. Он не знал, что сказать.

Затем Цезарь продолжил: «Он был моим товарищем и другом, он был римлянином, солдатом… Я пришел слишком поздно…»

Воин, сопровождавший Цезаря, сделал какой-то неопределенный жест. Цезарь отвернулся, казалось, огромная тяжесть давит ему на плечи. «Я пришел слишком поздно, — повторил он, — и не смог убить его собственными руками».

Мораль:

Не торопитесь делать выводы, когда видите слезы правителя или военачальника.

Перевод АНТОНА ЧЕРНОВА

Сарайва, или Сарайва и барышни

Когда-то в Порту жил один молодой студент по фамилии Сарайва, родом из северных провинций. Этот парень прославился среди приятелей уверенностью в собственной проницательности, равно как и в наличии у себя таланта декламатора. Если в какой-то фразе — какой бы простой она ни казалась — ему слышалась фальшь, он воспринимал ее как бесполезное орудие, направленное против гранита собственной мудрости; и, поднеся указательный палец правой руки к правому веку, он весело грозил собеседнику, как бы предупреждая его: «Я же Сарайва!» И собеседник понимал, что Сарайву провести не удастся.

Эта абсолютная уверенность, которую другие молодые люди считали саму по себе смешной, натолкнула их на мысль устроить комичную сцену — воспользовавшись уверенностью Сарайвы в

собственном декламаторском таланте, — чтобы раз и навсегда опозорить его перед обществом. Зная, что за этой постоянной озабоченностью не быть обманутым кроется страх стать посмешищем, они договорились со своими знакомыми барышнями из хороших семей и благороднейшего происхождения устроить вечер в доме родителей одной из них и пригласить туда Сарайву выступить с речью. Условились, что после того, как Сарайва будет представлен и приглашен продемонстрировать свой талант декламатора — все в конце концов поднимут его на смех. Молодые люди были уверены, что Сарайве не избежать публичного осмеяния, и он заплатит за свою раздражающую самоуверенность.

Сарайве же они сказали, что многие барышни хотели бы услышать, как тот выступает с речью — поскольку были наслышаны о его мастерстве, — и договорились представить его в доме одной из барышень в такой-то вечер во столько-то часов.

Сарайва с благодарностью дал свое согласие. Однако, придя домой, начал размышлять о приглашении, и оно тотчас показалось ему подозрительным. «Тут что-то не так», — подумал Сарайва. И наедине с собой, перед зеркалом он поднес указательный палец правой руки к правому веку в знак собственной сообразительности, а затем указал на свое отражение: «Но я же Сарайва!»

Дальше он начал размышлять: «Что это за дьявольская вечеринка?» И вскоре обо всем догадался. Речь шла о том, чтобы наполнить какой-нибудь дом проститутками, переодетыми в дам и барышень, и пригласить его (его, Сарайву!) изображать там из себя декламатора. Логичный вывод, естественный. И Сарайва предпринял в уме свои меры предосторожности.

Наступил назначенный вечер и появился Сарайва. Вместе с товарищами он отправился в дом, где его ожидали дамы. Чтобы произвести впечатление прямо с порога, друзья резко толкнули двери в гостиную, которая оказалась полной барышень, и провозгласили: «Уважаемые дамы — господин Сарайва!» — словно представляли какую-нибудь мировую знаменитость.

И вот Сарайва, вечный весельчак, одним прыжком оказался в центре гостиной, и с распахнутыми объятиями весело взревел: «Привет, шлюхи!»

А затем, снова засмеявшись, наклонил перед побледневшими товарищами голову и поднес вечный указательный палец к правому веку: «Вы забыли, что я Сарайва…»

Мораль:

Не быть Сарайвой.

Когда сомневаешься — быть Сарайвой, потому что Сарайва здесь оказался глупцом, а все остальные как раз попали в неловкую ситуацию.

Когда один народ твердо уверен в себе, он начинает унижать других — даже если заблуждается и выглядит смешным. Однако лучше все же быть Сарайвой. Ибо не стоит забывать практический результат всей истории. Девушки были уязвлены, молодые люди — пристыжены, а вот кто оказался в выигрыше — так это Сарайва.

Перевод АННЫ ХУСНУТДИНОВОЙ

Я, доктор

Однажды я зашел в магазин, чтобы купить галстук. Продавец, который хорошо меня знал, поскольку я часто заходил туда, радостно поздоровался со мной: «Добрый день, господин доктор!»[12]

— Я не доктор, — ответил я. И это была чистая правда. — Почему вы решили, что я доктор?

— Да? А я и вправду так думал… — просто ответил он.

Я попросил показать мне галстуки, выбрал один и заплатил. Когда я выходил, к прилавку подошел другой продавец, который тоже давным-давно был со мной знаком.

Я попрощался с обоими. И оба продавца, почтительно поклонившись, как один ответили мне:

«Большое спасибо, господин доктор. Всего доброго».

Мораль:

Когда впечатление других людей делает из нас «господина доктора», именно таковым мы и должны быть. В социальной жизни мы представляем собой лишь то, что думают о нас другие, а, конечно, не то, что мы сами о себе знаем или воображаем. Наш общественный облик или — в случае людей знаменитых — облик исторический — это всего лишь некая идея, которая к нам самим никакого отношения не имеет. Государственный деятель, понимающий это — владеет ключом от мирового господства. Может, конечно, случиться, что при этом ему не встретится подходящая дверь — но это уже судьба.

Перевод АНТОНА ЧЕРНОВА

Осел и два берега

Когда дети подрастают и становятся достаточно взрослыми, чтобы быть глупыми, им рассказывают историю про осла, который однажды очутился на берегу реки и никак не мог перебраться на другой берег.

На этой реке нет ни моста, ни парома, а плавать осел не умеет. Что же ему делать? Ребенок обычно некоторое время думает и отвечает, что ослу остается только одно — уйти, и взрослый, который рассказывает эту историю, говорит, что так осел и поступил. А надо бы ответить — «не будь ослом», иначе шутка эта будет уже не шуткой, и уж точно не будет смешной.

Но на самом деле все было не так, и рассказал мне об этом никто иной как осел. Итак: осел пришел к реке и хотел перебраться на другой берег. Тщательно все осмотрев и поразмыслив, осел убедился в том, что действительно а) моста через реку нет б) парома — тоже нет и в) плавать он не умеет.

И тогда осел подумал: «Как поступил бы человек, будь он на моем месте?» И подумав так, ответил себе — «человек бы, верно, ушел. Ну вот, значит я совсем, как человек».

Но никто в этой загадке почему-то не подумал о том, что человек поступил бы так же, как осел.

Мораль:

Политика есть ничто иное, как искусство говорить одно и то же разными способами. И лучше при этом не говорить первым, потому что вопрос, как мы видим, задает человек, а вот отвечает на него — осел.

Перевод АНТОНА ЧЕРНОВА

Суареш и Перейра

Суареш и Перейра, служившие в одной конторе, были врагами. Дело не касалось службы — однако, строго говоря, конфликт между ними не мог бы возникнуть, если бы не было между ними конфликта. И хотя ссоры они намеренно никогда не искали, при каждой встрече с обеих сторон лились потоки взаимной брани. «Осел» на разный лад, все варианты «негодяя», даже уклон в «мошенника» и много всего прочего — при встрече тут же возникали разногласия, при обмене взглядами сыпались ругательства.

Однажды Суареш, из двух более умный и поэтому более глупый, в разговоре с другом за стенами конторы описал обычные сцены с Перейрой и услышал такой вопрос: «Но какого черта ты его не размажешь чем-то похуже, чем все эти глупые колкости?» — «Чем же это? — спросил Суареш. — Мне что, поколотить его?» — «Нет, не то… Лучше — молчание… У него в запасе больше ругательств, чем у тебя — и хорошо, а ты ответь ему большим презрением. Он оскорбляет — а ты смотришь на него и ничего не говоришь. Он еще больше оскорбляет — а ты все равно остаешься при своем. Он кричит и пеной исходит — а ты idem[13], и полный ноль. Вот увидишь: ни одно ругательство, которое он произнесет, не сравнится с тем, которого не произнесешь ты. Все, чего ты не скажешь, может быть чем угодно; все, что он скажет, будет лишь тем, что он сказал — а, может, и того меньше».

Суареш подумал и нашел в этом смысл — по крайней мере, временный. И, вопреки благоразумию, последовал совету. Однако, как обычно и бывает, когда поступаешь неблагоразумно — это сработало.

Все произошло уже на следующий день — потому что происходило это каждый день, а следующий не был выходным. Возник инцидент, который Перейра заставил Суареша спровоцировать. И пока другие коллеги внимательно прислушивались, Перейра начал. Привычные существительные сопровождаемые соответствующими прилагательными, и речь его запестрела характеристиками, способностями, преступными наклонностями и прочими атрибутами такого-то Суареша. В какой-то момент, поскольку Суареш ничего не говорил, а взгляд его рассеянно скользил по оратору, запал Перейры начал иссякать. Он говорил все тише и, наконец, почти онемел. На глаза навернулись слезы и дрожащим голосом он спросил: «Суареш, вы сердитесь на меня?»

Si vis bellum, para pacem.[14]

Перевод АННЫ ХУСНУТДИНОВОЙ

Христианин и католик

Однажды христианин и католик отправились вместе на прогулку. И вдруг католик, обращаясь к своему недругу, говорит: «Друг мой, я думаю, что мы с тобой во многом согласны». Христианин ничего не ответил, потому что все народы, наделенные даром речи, соглашаются в одном: в том, что молчание — это золото.

Католик продолжил: «Не правда ли, что истинная Церковь

воздвигнута на Камне»?

Его собеседник ответил: «Нет, я с этим не согласен».

— Согласись, не правда ли, что истинной следует считать ту Церковь, в основании которой наиболее древняя традиция?

— Нет, я не согласен.

— Согласись, верно ведь, что истинная Церковь именно та, которая объединяет мистиков и солдат, аскетов и великих грешников?

— Нет, не могу согласиться.

— Согласись, ведь справедливо, что истинная Церковь — это Церковь Христова?

— Да, может быть. Здесь не знаю, согласен я или нет.

— Согласись, бесспорно, что истинная Церковь желает человечеству блага.

— Не вполне, но согласен.

— Согласись, наконец, что истинная Церковь это та, которая является истинной Церковью.

— Разумеется, с этим я согласен.

— Стало быть, мы пришли к согласию, — сказал католик. — Теперь предлагаю поужинать.

Так они и поступили, и поскольку католик был оскорблен, а христианину было досадно чувствовать себя оскорбителем, с удовольствием ел только католик, а счет оплатил христианин.

Мораль:

Вопрос, а ответ на него поищите у Лопе де Веги — в 1900 году.

Перевод АНТОНА ЧЕРНОВА

Попугай

Жил как-то на окраине Лиссабона человек по фамилии Силва. Этот Силва, будучи уже немолодым, женился на одной вдове, у которой была уже почти взрослая дочь. Жена Силвы вскоре взяла над ним власть, и падчерица, становясь взрослее, всё больше помогала матери управлять отчимом.

Силва стал совсем тряпкой. Он утратил индивидуальность и волю. Во всех домашних и прочих делах он был рабом прихотей своей жены, если не был им, иногда стихийно, для её дочери.

Поскольку господство порождает презрение, а презрение — вседозволенность, жена Силвы, хоть и не была нрава

легкомысленного, поддавшись обстоятельствам, изменила мужу. Любовник, который для отвода глаз был представлен в качестве её кузена, практически поселился в их доме, а Силва, который не мог не знать о его связи со своей женой, должен был принимать его, улыбаться ему и всячески выказывать ему своё удовольствие по поводу его затянувшегося присутствия. Силва так и делал.

Потом жена Силвы добилась того, что её любовник стал полновластным хозяином. И так всё и продолжалось, она пользовалась властью над мужем, ставшим в этой системе укрощения бессловесной тварью, оплачивающей счета.

А у Силвы был попугай — птица уже старая, но не слишком умная: он кричал больше, чем говорил, а говорил всегда одно и то же. Однажды жена Силвы, вполне естественно, устав от бесконечных криков птицы, сняла его клетку с крюка и продала его какому-то бродяге.

Когда вечером Силва вернулся домой и не услышал криков птицы, он отправился искать попугая во двор, где висела обычно клетка, а не найдя его там, пошёл в столовую, чтобы осведомиться у жены.

«Я его продала», — ответила та, а падчерица расхохоталась. Силва вышел, как обычно ничего не сказав.

Он пошёл в спальню, вынул из ящика ночного столика револьвер, вернулся в столовую и двумя точными выстрелами спокойно убил жену и падчерицу.

Мораль:

Имперские народы, экспансивные и властолюбивые — осторожнее с попугаем!

Перевод МАКСИМА ТЮТЮННИКОВА

Торговка рыбой и логика

Однажды по улице быстром шагом шли четыре торговки рыбой, образуя ромб, и вот одной из них, той, что была впереди, светловолосой и большеглазой, захотелось посмеяться над молодым человеком, похожим на мудреца со старческой бородой, шедшим навстречу по противоположной стороне улицы. Она остановилась, и инстинктивно остановились прочие прохожие. Указав на парня, торговка сказала:

— Смотрите, какой бородач!

Весь людской пейзаж дружно засмеялся.

Молодой человек со старческой бородой остановился на краю тротуара, словно на пристани, посмотрел на торговку отсутствующим взглядом и с грустью произнес:

— Сразу видно, что тебя бабка родила!

Торговка застыла, как вкопанная, покраснела, на несколько секунд умолкла — а вокруг, спустя мгновение, уже расходившаяся публика взорвалась хохотом. И было неясно, смеялась ли она над ответом или же над немым смущением светловолосой торговки.

Молодой человек двинулся дальше, гордо вскинув бороду и оставив позади аплодирующую публику. Позже, в кафе он рассказал о том, что случилось, своему другу. Тот выслушал, рассмеялся, но затем замолчал. В конце концов, его лицо исказилось стыдом и страхом.

— Извините меня. Возможно, я глуп или покажусь таковым сегодня. Но что все это значит?

— А ничего не значит. В этом и есть вся соль.

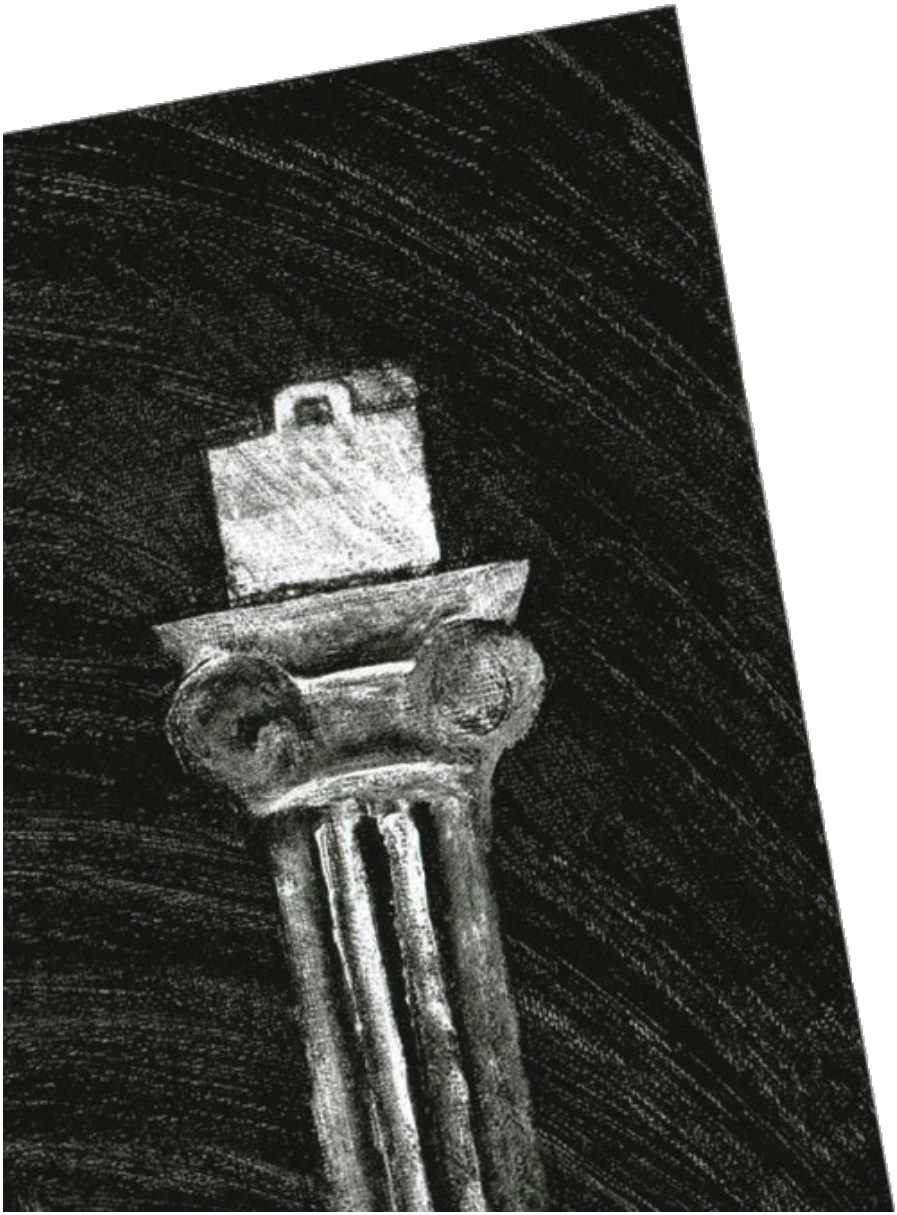
Мораль:

Смутить — значит победить.

Перевод АННЫ ХУСНУТДИНОВОЙ

Fernando Pessoa
O BANQUEIRO ANARQUISTA E OUTROS CONTOS

O banqueiro anarquista



Tínhamos acabado de jantar. Defronte de rnim o meu amigo, banqueiro, grande comerciante e açambarcador notável, fumava como quem não pensa. A conversa, que fora amortecendo, jazia morta entre nós. Procurei reanimá-la, ao acaso, servindome de uma ideia que me passou pela meditação. Voltei-me para ele, sorrindo.

— É verdade: disseram-me há dias que você em tempos foi

anarquista…

— Fui, não: fui e sou. Não mudei a esse respeito. *Sou* anarquista.

— Essa é boa! Você anarquista! Em que é que você é anarquista?… Só se você dá à palavra qualquer sentido diferente…

— Do vulgar? Não; não dou. Emprego a palavra no sentido vulgar.

— Quer você dizer, então, que é anarquista exactamente no mesmo sentido em que são anarquistas esses tipos das organizações operárias? Então entre você e esses tipos da bomba e dos sindicatos não há diferença nenhuma?

— Diferença, diferença, há… Evidentemente que há diferença. Mas não é a que você julga. Você duvida talvez que as minhas teorías sociais sejam iguais às deles?…

— Ah, já percebo! Você, quanto às teorías, é anarquista; quanto à prática…

— Quanto à prática sou tão anarquista como quanto às teorías. E quanto à prática sou mais, sou muito mais anarquista que esses tipos que você citou. Toda a inha vida o mostra.

— Hem?

— Toda a minha vida o mostra, filho. Você é que nunca deu a estas coisas uma atentção lúcida. Por isso lhe parece que estou dizendo uma asneira, ou então que estou brincando consigo.

— Ó homem, eu não percebo nada!.. A não ser…, a não ser que você julgue a sua vida dissolvente e anti-social e dê esse sentido ao anarquismo…

— Já lhe disse que não — isto é, já lhe disse que não dou à palavra anarquismo um sentido diferente do vulgar.

— Está bem… Continuo sem perceber… Ó homem, você quer-me dizer que não há diferença entre as suas teorías verdaderamente anarquistas e a prática da sua vida — a prática da sua vida como ela é agora? Você quer que eu acredite que você tem uma vida exactamente igual à dos tipos que vulgarmente são anarquistas?

— Não; não é isso. O que eu quero dizer é que entre as minhas teorías e a prática da minha vida não há divergência nenhuma, mas uma conformidade absoluta. Lá que não tenho uma vida como a dos tipos dos sindicatos e das bombas — isso é verdade. Mas é a vida deles que está fora do anarquismo, fora dos ideáis deles. A minha não. Em mim — sim, e mim, banqueiro, grande comerciante, açambarcador se você quiser —, em mim a teoria e a prática do anarquismo estão conjuntas e ambas certas. Você comparou-me a esses parvos dos sindicatos e das bombas para indicar que sou diferente deles. Sou, mas a diferença é esta: eles (sim, eles e não eu) são anarquistas só na teoria; eu sou-o na teoria e na prática. Eles são anarquistas e estúpidos, eu anarquista e inteligente. Isto é, meu velho, eu é que sou

o verdadeiro anarquista. Eles — os dos sindicatos e das bombas (eu também lá estive e saí de lá exactamente pelo meu verdadeiro anarquismo) —, eles são o lixo do anarquismo, os fêmeas da grande doutrina libertária.

— Essa nem ao diabo a ouviram! Isso é espantoso! Mas como concilia você a sua vida — quero dizer a sua vida bancária e comercial — com as teorías anarquistas? Como o concilia você, se diz que por teorías anarquistas entende exactamente o que os anarquistas vulgares entendem? E você, ainda por cima, me diz que é diferente deles por ser *mais* anarquista do que eles — não é verdade?

— Exactamente.

— Não percebo nada.

— Mas você tem empenho em perceber?

— Todo o empenho.

Ele tirou da boca o charuto, que se apagara: reacendeuo lentamente; fitou o fósforo que se extinguía; depô-lo ao de leve no cinzeiro; depois, erguendo a cabeça, um momento abaixada, disse:

— Oiça. Eu nasci do povo e na classe operária da cidade. De bom não herdei, como pode imaginar, nem a condição, nem as circunstâncias. Apenas me aconteceu ter uma inteligência naturalmente lúcida e uma vontade um tanto ou quanto forte. Mas esses eram dons naturais, que o meu baixo nascimento me não podia tirar.

«Fui operário, trabalhei, vivi uma vida apertada; fui, em resumo, o que a maiora da gente é naquele meio. Não digo que absolutamente passasse fome, mas andei lá perto. De resto, podia tê-la passado, que isso não alterava nada do que se seguiu, ou do que lhe vou expor, nem do que foi a minha vida, nem do que ela é agora.

«Fui um operário vulgar, em suma; como todos, trabalhava porque tinha que trabalhar, e trabalhava o menos possível. O que eu era, era inteligente. Sempre que podia, lia coisas, discutía coisas e, como não era tolo, nasceu-me uma grande insatisfação e uma grande revolta contra o meu destino e contra as condições sociais que o faziam assim. Já lhe disse que, em boa verdade, o meu destino podia ter sido pior do que era; mas naquela altura parecia-me a mim que eu era um ente a quem a Sorte tinha feito todas as injustiças juntas, e que se tinha servido das convenções sociais para mas fazer. Isto era aí pelos meus vinte anos — vinte e um máximo — que foi quando me tornei anarquista.

Parou um momento. Voltou-se um pouco mais para mim. Continuou, inclinando-se mais um pouco.

— Fui sempre mais ou menos lúcido. Senti-me revoltado. Quis perceber a minha revolta. Tornei-me anarquista consciente e convicto — o anarquista consciente e convicto que hoje sou.

— E a teoria, que você tem hoje, é a mesma que tinha nessa altura?

— A mesma. A teoría anarquista, a verdadeira teoría, é só uma. Tenho a que sempre tive, desde que me tornei anarquista. Você já vai ver… Ia eu dizendo que, como era lúcido por natureza, me tornei anarquista consciente. Ora o que é um anarquista? É um revoltado contra a injustiça de nascermos desiguais *socialmente* — no fundo é só isto. E daí resulta, como é de ver, a revolta contra as convenções sociais que tornam essa desigualdade possível. O que lhe estou indicando agora é o caminho psicológico, isto é, como é que a gente se torna anarquista; já vamos à parte teórica do assunto. Por agora, compreenda você bem qual seria a revolta de um tipo inteligente ñas minhas circunstâncias. O que é que ele vê pelo mundo? Um nasce filho de um milionário, protegido desde o berço contra aqueles infortúnios — e não são poucos — que o dinheiro pode evitar ou atenuar; outro nasce miserável, a ser, quando criança, uma boca a mais numa família onde as bocas são de sobra para o comer que pode haver. Um nasce conde ou marquês, e tem por isso a consideração de toda a gente, faça ele o que fizer; outro nasce assim como eu, e tem que andar direitinho como um prumo para ser ao menos tratado como gente. Uns nascem em tais condições que podem estudar, viajar, instruir-se — tornar-se (pode-se dizer) mais inteligentes que outros que naturalmente o são mais. E assim por adiante, e em tudo…

«As injustiças da Natureza, vá: não as podemos evitar. Agora as da sociedade e das suas convenções — essas, por que não evitá-las? Aceito — não tenho mesmo outro remédio — que um homem seja superior a mim por o que a Natureza lhe deu — o talento, a força, a energia; não aceito que ele seja meu superior por qualidades postiças, com que não saiu do ventre da mãe, mas que lhe aconteceram por bambúrrio logo que ele apareceu cá fora — a riqueza, a posição social, a vida facilitada, etc. Foi da revolta que lhe estou figurando por estas considerações que nasceu o meu anarquismo de então — o anarquismo que, já lhe disse, mantenho hoje sem alteração nenhuma.

Parou outra vez um momento, como a pensar como prosseguiria. Fumou e soprou o fumo lentamente, para o lado oposto ao meu. Voltou-se, e ia a prosseguir. Eu, porém, interrompi-o.

— Uma pergunta, por curiosidade… Por que é que você se tornou propriamente anarquista? Você podia ter-se tornado socialista, ou qualquer outra coisa avançada que não fosse tão longe. Tudo isso estava dentro da sua revolta… Deduzo do que você disse que por anarquismo você entende (e acho que está bem como definição do anarquismo) a revolta contra todas as convenções e fórmulas sociais e o desejo e esforço para a abolição de todas…

— Isso mesmo.

— Por que escolheu você essa fórmula extrema e não se decidiu por qualquer das outras… das intermédias?…

— Eu lhe digo. Eu meditei tudo isso. É claro que nos folhetos que eu lia via todas essas teorias. Escolhi a teoria anarquista — a teoria extrema, como você muito bem diz — pelas razões que lhe vou dizer em duas palavras.

Fitou um momento coisa nenhuma. Depois voltou-se para mim.

* * *

— O mal verdadeiro, o único mal, são as convenções e as ficções sociais, que se sobrepõem às realidades naturais — tudo, desde a família ao dinheiro, desde a religião ao Estado. A gente nasce homem ou mulher — quero dizer, nasce para ser, em adulto, homem ou mulher; não nasce, em boa justiça natural, nem para ser marido, nem para ser rico ou pobre, como também não nasce para ser católico ou protestante, ou português ou inglês. É todas estas coisas em virtude das ficções sociais. Ora essas ficções sociais são más porquê? *Porque são ficções, porque não são naturais.* Tão mau é o dinheiro como o Estado, a constituição da família como as religiões. Se houvesse outras, que não fossem estas, seriam igualmente más, *porque também seriam ficções,* porque também se sobreporiam e estorvariam as realidades naturais. Ora qualquer sistema que não seja o puro sistema anarquista, que quer a abolição de todas as ficções e de cada uma délas completamente, *é uma ficção também.* Empregar todo o nosso desejo, todo o nosso esforçó, toda a nossa inteligência para implantar, ou contribuir para implantar, uma ficção social em vez de outra, é um absurdo, quando não seja mesmo um crime, *porque é fazer uma perturbação social com o fim expresso de deixar tudo na mesma.* Se achamos injustas as ficções sociais, porque esmagam e oprimem o que é natural no homem, para que empregar o nosso esforço em substituir-lhes outras ficções, se o podermos empregar para as destruir a todas?

«Isto parece-me que é concludente. Mas suponhamos que o não é; suponhamos qe nos objectam que isto tudo estará muito certo, mas que o sistema anarquista não é realizável na prática. Vamos lá a examinar essa parte do problema.

«Por que é que o sistema anarquista não seria realizável? Nós partimos, todos os avançados, do princípio, não só de que actual sistema é injusto, mas de que há vantagem, porque há justiça, em substituí-lo por outro mais justo. Se não pensamos assim, não somos avançados, mas burgueses. Ora de onde vem esse critério de *justiça*? Do que é *natural e verdadeiro,* em oposição às ficções sociais e às mentiras da convenção. Ora o que é natural é o que é inteiramente

natural, não o que é metade, ou um quarto, ou um oitavo de natural. Muito bem. Ora, de duas coisas, uma: ou o natural é realizável socialmente ou não é; em outras palavras, ou a sociedade pode ser natural, ou a sociedade é essencialmente ficção e não pode ser natural, então pode haver a sociedade anarquista, ou livre, e deve haver, porque é ela a sociedade inteiramente natural. Se a sociedade não pode ser natural, se (por qualquer razão que não importa) tem por força que ser ficção, então do mal o menos; façamo-la, dentro dessa ficção inevitável, o mais natural possível, para que seja, por isso mesmo, o mais justa possível. Qual é a ficção mais natural? Nenhuma é natural em si, porque é ficção; a mais natural, neste nosso caso, será aquela que *pareça* mais natural, que *se sinta* como mais natural. Qual é a que parece mais natural, ou que sintamos mais natural? É aquela a que estamos habituados. (Você compreende: o que é natural é o que é do instinto; e o que, não sendo instinto, se parece em tudo como o instinto é o hábito. Fumar não é natural, não é uma necessidade do instinto; mas, se nos habituámos a fumar, passa a ser-nos natural, passa a ser sentido como uma necessidade do instinto). Ora qual é a ficgção social que constituí um hábito nosso? É o actual sistema, o sistema burguês. Temos pois, em boa lógica, que ou achamos possível a sociedade natural, e seremos defensores do anarquismo; ou não a julgamos possível, e seremos defensores do regime burguês. Não há hipótese intermédia. Percebeu?…

— Sim, senhor; isso é concludente.

— Ainda não é bem concludente… Aínda há uma outra objecgáo, do mesmo género, a liquidar… Pode concordar-se que o sistema anarquista é realizável, mas pode duvidar-se que ele seja realizável *de chofre* — isto é, que se possa passar da sociedade burguesa para a sociedade livre sem haver um ou mais estados ou regimes intermédios. Quem fizer esta objecção aceita como boa, e como realizável, a sociedade anarquista; mas palpita-lhe que tem que haver um estado qualquer de transição entre a sociedade burguesa e ela.

«Ora muito bem. Suponhamos que assim é. O que é esse estado intermédio? O nosso fim é a sociedade anarquista, ou livre; esse estado intermédio só pode ser, portanto, um estado de preparação da humanidade para a sociedade livre. Essa preparação ou é material, ou é simplesmente mental; isto é, ou é uma série de realizações materiais ou sociais que vão adaptando a humanidade à sociedade livre, ou é simples propaganda gradualmente crescente e influente, que a vai preparando *mentalmente* a desejá-la ou a aceitá-la.

«Vamos ao primeiro caso, a adaptação gradual e material da humanidade à sociedade livre. É impossível; é mais que impossível: é absurdo. Não há adaptação material senão a uma coisa *que já há.* Nenhum de nós se pode adaptar materialmente ao meio social do

sáculo vinte e três, mesmo que saiba o que ele será; e não se pode adaptar materialmente porque o sáculo vinte e três e o seu meio social não existem *materialmente* ainda. Assim, chegamos à conclusão de que, na passagem da sociedade burguesa para s sociedade livre, a única parte que pode haver de adaptação, de evolução ou de transição é *mental, é* a gradual adaptação dos espíritos à ideia da sociedade livre… Em todo o caso, no campo da adaptação material, ainda há uma hipótese…

— Irra com tanta hipótese!..

— Ó filho, o homem lúcido tem que examinar todas as objecções possíveis e de as refutar, antes de se poder dizer seguro da doutrina. E, de mais a mais, isto tudo é em resposta a uma pergunta que você me fez…

— Está bem.

— No campo da adaptação material, dizia eu, há em todo o caso uma outra hipótese. É a da ditadura revolucionária.

— Da ditadura revolucionária como?

— Como eu lhe expliquei, não pode haver adaptação material a uma coisa que não existe, materialmente, ainda. Mas se, por um movimento brusco, se fizer a revolução social, fica implantada já, não a sociedade livre (porque para essa não pode a humanidade ter ainda preparação), mas uma ditadura daqueles que querem implantar a sociedade livre. Mas existe já, ainda que em esboço ou em começo, existe já *materialmente* qualquer coisa da sociedade livre. Há já portanto uma coisa material, a que a humanidade se adapte. É este o argumento com que as bestas que defendem a «ditadura do proletariado» a defenderiam se fossem capazes de argumentar ou de pensar. O argumento, é claro, não é deles: é meu. Ponho-o, como objecção, a mim mesmo. E, como vou mostar…, é falso.

«Um regímen revolucionário, enquanto existe, e seja qual for o fim a que visa ou a ideia que o conduz, é *materialmente só* uma coisa — um regime revolucionário. Ora um regímen revolucionário quer dizer uma ditadura de guerra, ou, nas verdadeiras palavras, um regímen militar despótico, porque o estado de guerra é imposto à sociedade por uma parte déla — aquela parte que assumiu revolucionariamente o poder. O que é que resulta? Resulta que quem se adaptar a esse regímen, como a única coisa que ele é *materialmente, mediatamente,* é um regímen militar despótico, adaptase a um regímen militar despótico. A ideia, que conduziu os revolucionários, o fim, a que visaram, desapareceu por completo da *realidade* social, que é ocupada exclusivamente pelo fenómeno guerreiro. De modo que o que sai de uma ditadura revolucionária — e tanto mais completamente sairá, quanto mais tempo essa ditadura durar — é uma sociedade guerreira de tipo ditatorial, isto é, um despotismo militar. Nem mesmo

podia ser outra coisa. E foi sempre assim. Eu não sei muita história, mas o que sei acerta com isto; nem podia deixar de acertar. O que saiu das agitações políticas de Roma? O império romano e o seu despotismo militar. O que saiu da Revolução Francesa? Napoleão e o seu despotismo militar. E você verá o que sai da Revolução Russa… Qualquer coisa que vai atrasar dezenas de anos a realização da sociedade livre… Também, o que era de esperar de um povo de analfabetos e de místicos?…

Enfím, isto já está fora da conversa… Você percebeu o meu argumento?

— Percebi perfeitamente.

— Você compreende portanto que eu cheguei a esta conclusão: Fim: a sociedade anarquista, a sociedade livre; meio: a passagem, *sem transição,* da sociedade burguesa para a sociedade livre. Esta passagem seria preparada e tornada possível por uma propaganda intensa, completa, absorvente, de modo a predispor todos os espíritos e enfraquecer todas as resistências. É claro que por «propaganda» não entendo só a pela palavra escrita e falada: entendo tudo, acção indirecta ou directa, quanto pode predispor para a sociedade livre e enfraquecer a resistência à sua vinda. Assim, não tendo quase resistências nenhumas que vencer, a revolução social, quando viesse, seria rápida, fácil, e não teria que estabelecer nenhuma ditadura revolucionária, por não ter contra quem aplicá-la. Se isto não pode ser assim, é que o anarquismo é irrealizável; e, se o anarquismo é irrealizável, só é defensável e justa, como já lhe provei, a sociedade burguesa.

«Ora aí tem você por que e como eu me tornei anarquista, e por que e como rejeitei, como falsas e antinaturais, as outras doutrinas sociais de menor ousadia.

«E pronto… Vamos lá a continuar a minha história.

Fez explodir um fósforo, e acendeu lentamente o charuto. Concentrou-se, e daí a pouco prosseguiu.

* * *

— Havia vários outros rapazes com as mesmas opiniões que eu. A maioria era de operários, mas havia um ou outro que o não era; o que todos éramos era pobres, e, que me lembre, não éramos muito estúpidos. A gente tinha uma certa vontade de se instruir, de saber coisas, e ao mesmo tempo uma vontade de propaganda, de espalhar as nossas ideias. Queríamos para nós e para os outros — para a humanidade inteira — uma sociedade nova, livre destes preconceitos todos, que fazem os homens desiguais artificialmente e Ihes impõem

inferioridades, sofri-mentos, estreitezas, que a Natureza lhes não tinha imposto! Por mim, o que eu lia confirmava-me nestas opiniões. Em livros libertários baratos — os que havia ao tempo, e eram já bastantes — li quase tudo. Fui a conferências e comicios dos propagandistas do tempo. Cada livro e cada discurso me convencía mais da certeza e da justiça das minhas ideias. O que eu pensava então — repito-lhe, meu amigo — é o que pensó hoje; a única diferença é que então pensava-o só, e hoje penso-o e pratico-o.

— Pois sim; isso, até onde vai, está muito bem. Está muito certo que você se tornasse anarquista assim, e vejo perfeitamente que você era anarquista. Não preciso mais provas disso. O que eu quero saber é como é que daí saiu o banqueiro…, como é que saiu daí sem contradigo… Isto é, mais ou menos já calculo…

— Não, não calcula nada… Eu sei o que você quer dizer… Você baseia-se nos argumentos que me acaba de ouvir, e julga que eu achei o anarquismo irrealizável e por isso, como lhe disse, só defensável e justa a sociedade burguesa — não é?

— Sim, calculei que fosse mais ou menos isso…

— Mas como o podia ser, se desde o princípio da conversa lhe tenho dito e repetido que *sou* anarquista, que não só o fui mas o continuo sendo? Se eu me tivesse tornado banqueiro e comerciante pela razão que você julga, eu não era anarquista, era burguês.

— Sim, você tem razão… Mas então com os diabos…? Vá lá, vá dizendo…

— Como lhe disse, eu era (fui sempre) mais ou menos lúcido, e também um homem de acção. Essas são qualidades naturais; não mas puseram no berço (se *é* que eu tive berço), eu é que as levei para lá. Pois bem. Sendo anarquista, eu achava insuportável ser anarquista só passivamente, só para ir ouvir discursos e falar nisso com os amigos. Não: era preciso fazer qualquer coisa! Era preciso trabalhar e lutar pela causa dos oprimidos e das vítimas das convenções sociais! Decidi meter ombros a isso, conforme pudesse. Pus-me a pensar como é que eu poderia ser útil à causa libertária. Pus-me a traçar o meu plano e acção.

«O que quer o anarquista? A liberdade — a liberdade para si e para os outros, para a humanidade inteira. Quer estar livre da influência ou da pressão das ficções sociais; quer ser livre tal qual nasceu e apareceu no mundo, que é como em justiça deve ser; e quer essa liberdade para si e para todos os mais. Nem todos podem ser iguais perante a Natureza: uns nascem altos, outros baixos; uns fortes, outros fracos; uns mais inteligentes, outros menos… Mas todos podem ser iguais daí em diante; só as ficções sociais o evitam. Essas ficções sociais é que era preciso destruir.

«Era preciso destruí-las… Mas não me escapou uma coisa, era

preciso destruí-las *mas em proveito da liberdade,* e tendo sempre em vista a criação da sociedade livre. Porque isso de destruir as ficções sociais tanto pode ser para criar liberdade, ou preparar o caminho da liberdade, como para estabelecer outras ficções sociais diferentes, igualmente más porque igualmente fícções. Aqui é que era preciso cuidado. Era preciso acertar com um processo de acção, qualquer que fosse a sua violência ou a sua não-violência (porque contra as injustiças sociais tudo era legítimo), pelo qual se contribuísse para destruir as fícções sociais sem, ao mesmo tempo, estorvar a criação da liberdade futura; criando já mesmo, caso fosse possível, alguma coisa da liberdade futura.

«É claro que esta liberdade, que deve haver cuidado em não estorvar, é a *liberdade futura* e, no presente, a *liberdade dos oprimidos pelas ficções sociais.* Claro está que não temos que olhar a não estorvar a «liberdade» dos poderosos, dos bem-situados, de todos que representam as ficções sociais e têm vantagem nelas. Essa não é liberdade; é a liberdade de tiranizar, que é o contrário da liberdade. Essa, pelo contrário, é o que mais devíamos pensar em estorvar e em combaten Parece-me que isto está claro…

— Está claríssimo. Continué…

— Para quem quer o anarquista a liberdade? Para a humanidade inteira. Qual é a maneira de conseguir a liberdade para a humanidade inteira? Destruir por completo todas as ficções sociais. Como se poderiam destruir por completo todas as ficções sociais? Já lhe antecipei a explicação, quando, por causa da sua pergunta, discuti os outros sistemas avançados e lhe expliquei como e porque era anarquista… Você lembra-se da minha conclusão?…

— Lembro…

— …Uma revolução social súbita, brusca, esmagadora, fazendo a sociedade passar, de um salto, do regímen burguês para a sociedade livre. Esta revolução social preparada por um trabalho intenso e continuo, de acção directa e indirecta, tendente a dispor todos os espíritos para a vinda da sociedade livre, e a enfraquecer até ao estado comatoso todas as resisténcias da burguesia. Escuso de lhe repetir as razões que levam inevitavelmente a esta conclusão, adentro do anarquismo; já lhas expus e você já as percebeu.

— Sim.

— Essa revolução seria preferivelmente mundial, simultânea em todos os pontos, ou os pontos importantes, do mundo; ou, não sendo assim, partindo rápidamente de uns para outros, mas, em todo o caso, em cada ponto, isto é, em cada nação, fulminante e completa.

«Muito bem. O que poderia *eu* fazer para esse fim? Só por mim, não a poderia fazer a ela, á revolução mundial, nem mesmo poderia fazer a revolução completa na parte referente ao país onde estava. O

que eu podia era trabalhar, na inteira medida do meu esforço, para fazer a preparação para essa revolução. Já lhe expliquei como: combatendo, por todos os meios acessíveis, as ficções sociais; não estorvando nunca ao fazer esse combate ou a propaganda da sociedade livre, nem a liberdade futura, nem a liberdade presente dos oprimidos; criando já, sendo possível, qualquer coisa da futura liberdade.

Puxou fumo; fez uma leve pausa; recomeçou.

* * *

— Ora aqui, meu amigo, pus eu a minha lucidez em acção. Trabalhar para o futuro, está bem, pensei eu; trabalhar para os outros terem liberdade, está certo. Mas então eu? Eu não sou ninguém? Se eu fosse cristão, trabalhava alegremente pelo futuro dos outros, porque lá tinha a minha recompensa no céu; mas também, se eu fosse cristáo, não era anarquista, porque então as tais desigualdades sociais não tinham importância na nossa curta vida: eram só condições da nossa provação, e lá seriam compensadas na vida eterna. Mas eu não era cristão, como não sou, e perguntava-me: mas por quem é que eu me vou sacrificar nisto tudo? Mais ainda: *por que é* que eu me vou sacrificar?

«Vieram-me momentos de descrença; e você compreende que era justificada… Sou materialista, pensava eu; não tenho mais vida que esta; para que hei-de ralar-me com propagandas e desigualdades sociais, e outras histórias, quando posso gozar e entreter-me muito mais se não me preocupar com isso? Quem tem só esta vida, quem não crê na vida eterna, quem não admite lei senão a Natureza, quem se opõe ao Estado porque ele não é natural, ao casamento porque ele não é natural, a todas as ficções sociais porque elas não são naturais, por que carga de água é que defende o altruísmo e o sacrifício pelos outros, ou pela humanidade, se o altruísmo e o sacrifício também não são naturais? Sim, a mesma lógica que me mostra que um homem não nasce para ser casado, ou para ser português, ou para ser rico ou pobre, mostra-me também que ele não nasce para ser *solidário,* que ele não nasce senão para ser ele próprio, e portanto o contrário de altruísta e solidário, e portanto exclusivamente egoísta.

«Eu discutí a situação comigo mesmo. Repara tu, dizia eu para mim, que nascemos pertencentes à espécie humana, e que temos o dever de ser solidários com todos os homens. Mas a ideia de «dever» era natural? De onde é que vinha esta ideia de «dever»? Se esta ideia de dever me obrigava a sacrificar o meu bem-estar, a minha comodidade, o meu instinto de conservação e outros meus instintos

naturais, em que divergía a acção dessa ideia da acção de qualquer ficção social, que produz em nós exactamente o mesmo efeito?

«Esta ideia de dever, isto de solidariedade humana, só podia considerar-se natural *se trouxesse consigo uma compensação egoísta,* porque então, embora em princípio contrariasse o egoísmo natural, se dava a esse egoísmo uma compensação, sempre, no fim de contas, o não contrariara. Sacrificar um prazer, simplesmente sacrificá-lo, não é natural; sacrificar um prazer a outro, é que já está dentro da Natureza: é, entre duas coisas naturais que se não podem ter ambas, escolher uma, o que está bem. Ora que compensação egoísta, ou natural, podia dar-me a dedicação à causa da sociedade livre e da futura felicidade humana? Só a consciência do dever cumprido, do esforço para um fim bom; e nenhuma destas coisas é uma compensado egoísta, nenhuma destas coisas é um prazer em si, mas um prazer, se o é, nascido de uma ficção, como pode ser o prazer de ser ¡mensamente rico, ou o prazer de ter nascido em uma boa posição social.

«Confesso-lhe, meu velho, que me vieram momentos de descrença… Senti-me desleal à minha doutrina, traidor a ela… Mas em breve passei sobre tudo isto. A ideia de justiga cá estava, dentro de mim, pensei eu. Eu sentia-a natural. Eu sentia que havia um dever superior à preocupação só cá do meu destino. E fui para diante na minha intenção.

— Não me parece que essa decisão revelasse uma grande lucidez da sua parte… Você não resolveu a dificuldade… Você foi para diante por um impulso absolutamente sentimental…

— Sem dúvida. Mas o que lhe estou contando agora é a história de como me tornei anarquista, e de como o continuei sendo, e continuo. Vou-lhe expondo lealmente as hesitações e as dificuldades que tive, e como as venci. Concordo que, naquele momento, venci a dificuldade lógica com o sentimento, e não com o raciocinio. Mas você há-de ver que, mais tarde, quando cheguei à plena compreensão da doutrina anarquista, esta dificuldade, até então lógicamente sem resposta, teve a sua solução completa e absoluta.

— É curioso…

— É… Agora deixe-me continuar na minha história. Tive esta dificuldade, e resolvi-a, se bem que mal, como lhe disse. Logo a seguir, e na linha dos meus pensamentos, surgiu-me outra dificuldade que também me atrapalhou bastante.

«Estava bem — vamos lá — que estivesse disposto a sacrificar-me, sem recompensa nenhuma propriamente pessoal, isto é, sem recompensa nenhuma verdadeiramente *natural.* Mas suponhamos que a sociedade futura não dava em nada do que eu esperava, que nunca havia a sociedade livre, a que diabo é que eu, nesse caso, me estava sacrificando? Sacrificarme a uma ideia sem recompensa pessoal, sem

eu ganhar nada com o meu esforgo por essa ideia, vá; mas sacrificar-me sem ao menos ter a certeza de que aquilo para que eu trabalhava existiría um dia, *sem que a própria ideia ganhasse com o meu esforço* — isso era um pouco mais forte… Desde já lhe digo que resolví a difículdade pelo mesmo processo sentimental por que resolví a outra; mas advirto-o também que, no mesmo modo que a outra, resolví esta pela lógica, automáticamente, quando cheguei ao estado plenamente consciente do meu anarquismo… Você depois verá… Na altura do que lhe estou contando, saí-me do apuro com uma ou duas frases ocas. «Eu fazia o meu dever para com o futuro; o futuro que fizesse o seu para comigo»… Isto, ou coisa que o valha…

«Expus esta conclusão, ou, antes, estas conclusões, aos meus camaradas, e eles concordaram todos comigo; concordaran! todos que era preciso ir prà frente e fazer tudo pela sociedade livre. É verdade que um ou outro, dos mais inteligentes, ficaram um pouco abalados com a exposição, não porque não concordassem, mas porque nunca tinham visto as coisas assim claras, nem os bicos que estas coisas tém… Mas enfím, concordaram todos… Iríamos todos traba-lhar pela grande revolução social, pela sociedade livre, quer o futuro nos justifícasse, quer não! Formámos um grupo, entre gente certa, e começãmos uma grande propaganda — grande, é claro, dentro dos limites do que podíamos fazer. Durante bastante tempo, no meio de difículdades, embrulhadas, e por vezes perseguições, lá fomos trabalhando pelo ideal anarquista.

O banqueiro, chegado aqui, fez uma pausa um pouco longa. Não acendeu o charuto, que estava outra vez apagado. De repente teve um leve sorriso, e, com o ar de quem chega ao ponto importante, fitou-me com mais insistência e prosseguiu, clarificando mais a voz e acentuando mais as palavras.

* * *

— Nesta altura — disse ele —, apareceu uma coisa nova. «Nesta altura» é modo de dizer. Quero dizer que, depois de alguns meses desta propaganda, comecei a reparar numa nova complicação, e esta é que era a mais séria de todas, esta é que era séria a valer…

«Você recorda-se, não é verdade? daquilo em que eu, por um raciocínio rigoroso, assentei que devia ser o processo de acção dos anarquistas… Um processo, ou processos quaisquer, pelo qual se contribuísse para destruir as ficções sociais sem, ao mesmo tempo, estorvar a criação da liberdade futura, sem, portanto, estorvar em coisa nenhuma a pouca liberdade dos actuais oprimidos pelas ficções sociais; um processo que, sendo possível, criasse já alguma coisa da

liberdade futura…

«Pois bem: uma vez assente este critério, nunca mais deixei de o ter presente… Ora, na altura da nossa propaganda em que lhe estou falando, descobri uma coisa. No grupo de propaganda — não éramos muitos; éramos uns quarenta, salvo erro — dava-se este caso: *criava-se tirania.*

— Criava-se tirania?… Criava-se tirania como?

— Da seguinte maneira… Uns mandavam em outros e levavam-nos para onde queriam; uns impunham-se a outros e obrigavam-nos a ser o que eles queriam; uns arrastavam outros por manhas e por artes para onde eles queriam. Não digo que fizessem isto em coisas graves; mesmo, não havia coisas graves ali em que o fizessem. Mas o facto é que isto acontecía sempre e todos os dias, e dava-se não só em assuntos relacionados com a propaganda, como fora deles, em assuntos vulgares da vida. Uns iam insensivelmente para chefes, outros insensivelmente para subordinados. Uns eram chefes por imposição; outros eram chefes por manha. No facto mais simples isto se via. Por exemplo: dois rapazes iam juntos por uma rúa fora; chegavam ao fim da rúa, e um tinha que ir para a direita e outro para esquerda; cada um tinha conveniência em ir para o seu lado. Mas o que ia para a esquerda dizia para o outro «Venha você comigo por aqui»; o outro respondia, e era verdade: «Homem, não posso; tenho que ir por ali» por esta ou aquela razão… Mas afinal, contra sua vontade e sua conveniência, lá ia com o outro para a esquerda… Isto era uma vez por persuasão, outra vez por simples insistência, uma terceira vez por um outro motivo qualquer assim… Isto é, nunca era por uma razão lógica; havia sempre nesta imposição e nesta subordinação qualquer coisa de espontâneo, de como que instintivo… E como neste caso simples, em todos os outros casos; desde os menos até aos mais importantes… Você vê bem o caso?

— Vejo. Mas que diabo há de estranho nisso? Isso é tudo quanto há de mais natural!..

— Será. Já vamos a isso. O que lhe peço que note é que é *exactamente o contrário da doutrina anarquista.* Repare bem que isto se passava num grupo pequeño, num grupo sem influência nem importância, num grupo a quem não estava confiada a solução de nenhuma questão grave ou a decisão sobre qualquer assunto de vulto. E repare que se passava num grupo de gente que se unirá especialmente para fazer o que pudesse para o finí anarquista — isto é, para combater, tanto quanto possível, as ficções sociais, e criar, tanto quanto possível, a liberdade futura. Você reparou bem nestes dois pontos?

— Reparei.

— Veja agora bem o que isso representa.. Um grupo pequeno, de

gente sincera (garanto-lhe que era sincera!), estabelecido e unido expressamente para trabalhar pela causa da liberdade, tinha, no fim de uns meses, conseguido só uma coisa de positivo e concreto — *a criação entre si de tirania.* E repare que tirania… Não era uma tirania derivada da acção das ficções sociais, que, embora lamentável, seria desculpável, até certo ponto, aínda que menos em nós, que combatíamos essas ficções, que em outras pessoas; mas enfim, vivíamos em meio de uma sociedade baseada nessas ficções e não era inteiramente culpa nossa se não pudéssemos de todo fugir à sua acção. Mas não era isso. Os que mandavam nos outros, ou os levavam para onde queriam, não faziam isso pela força do dinheiro, ou da posição social, ou de qualquer autoridade de natureza fictícia, que se arrogassem; faziam-no por uma acção de qualquer espécie fora das ficções sociais. Quer dizer, esta tirania era, relativamente às ficções sociais, *uma tirania nova.* E era uma tirania exercida sobre gente essencialmente oprimida já pelas ficções sociais. Era, ainda por cima, tirania exercida entre si por gente cujo intuito sincero não era senão destruir tirania e criar liberdade.

«Agora ponha o caso num grupo muito maior, muito mais influente, tratando já de questões importantes e de decisões de carácter fundamental. Ponha esse grupo a eneaminhar os seus esfonjos, como o nosso, para a formação de uma sociedade livre. E agora diga-me se através desse carregamento de tiranias entrecruzadas você entrevê qualquer sociedade futura que se pareça com uma sociedade livre ou com uma humanidade digna de si própria…

— Sim: isso é muito curioso…

— É curioso, não é?… E olhe que há pontos secundários também muito curiosos… Por exemplo: a tirania do auxílio…

— A qué?

— A tirania do auxílio. Havia entre nós quem, em vez de mandar nos outros, em vez de se impor aos outros, pelo contrário os auxiliava em tudo quanto podia. Parece o contrário, não é verdade? Pois olhe que é o mesmo. É a mesma tirania nova. É do mesmo modo ir contra os princípios anarquistas.

— Essa é boa! Em quê?

— Auxiliar alguém, meu amigo, é tomar alguém por incapaz; se alguém não é incapaz, é ou fazê-lo tal, ou supôlo tal, e isto é, no primeiro caso uma tirania, e no segundo um desprezo. Num caso cerceia-se a liberdade de outrem; no outro caso parte-se, pelo menos inconscientemente, do princípio de que outrem é desprezível e indigno ou incapaz de liberdade.

«Voltemos ao nosso caso… Você vê bem que este ponto era gravíssimo. Vá que trabalhássemos pela sociedade futura sem esperarmos que ela nos agradecesse, ou arriscandonos, mesmo, a que

ela nunca viesse. Tudo isso, vá. Mas o que era de mais era estarmos trabalhando para um futuro de liberdade e não fazermos, de positivo, mais que criar tirania, e não só tirania, mas tirania nova, e tirania exercida por nós, os oprimidos, uns sobre os outros. Ora isto é que não podia ser…

Pus-me a pensar. Aqui havia um erro, um desvio qualquer. Os nossos intuitos eram bons; as nossas doutrinas pareciam certas; seriam errados os nossos processos? Com certeza que deveriam ser. Mas onde diabo estava o erro? Pus-me a pensar nisso e ia dando em doido. Um dia, de repente, como acontece sempre nestas coisas, dei com a solução. Foi o grande dia das minhas teorías anarquistas: o dia em que descobri, por assim dizer, a técnica do anarquismo.

Olhou-me um momento sem me olhar. Depois continuou, no mesmo tom.

— Pensei assim… Temos aqui uma tirania nova, uma tirania que não é derivada das ficções sociais. Então de onde é ela derivada? Será derivada das qualidades naturais? Se é, adeus sociedade livre! Se uma sociedade onde estão em operação apenas as qualidades naturais dos homens — aquelas qualidades com que eles nascem, que devem só à Natureza, e sobre as quais não temos poder nenhum —, se uma sociedade onde estão em operação apenas essas qualidades é um amontoado de tiranias, quem é que vai mexer o dedo mínimo para contribuir para a vinda dessa sociedade? Tirania por tirania, fique a que está, que ao menos é aquela a que estamos habituados, e que por isso fatalmente sentimos menos que sentiríamos uma tirania nova, e com o carácter terrível de todas as coisas tiránicas que são directamente da Natureza — o não haver revolta possível contra ela, como não há revolução contra ter que morrer, ou contra nascer baixo quando se prefería ter nascido alto. Mesmo eu já lhe provei que, se por qualquer razáo não é realizável a sociedade anarquista, então deve existir, por ser mais natural que qualquer outra salvo aquela, a sociedade burguesa.

«Mas seria esta tirania, que nascia assim entre nós, realmente derivada das qualidades naturais? Ora o que são as qualidades naturais? São o grau de inteligência, de imaginação, de vontade, etc., com que cada um nasce — isto no campo mental, é claro, porque as qualidades naturais físicas não vém para o caso. Ora um tipo que, sem ser por uma razão derivada das ficções sociais, manda noutro, por força que o faz por lhe ser superior em uma ou outra das qualidades naturais. Domina-o pelo emprego das suas qualidades naturais. Mas há uma coisa a ver: esse emprego das qualidades naturais será legítimo,isto é, será *natural*?

«Ora qual é o emprego natural das nossas qualidades naturais? O servir os fins naturais da nossa personalidade. Ora dominar alguém

será um fim natural da nossa personalidade? Pode sê-lo; há um caso em que pode sê-lo: é quando esse alguém está para nós num lugar de inimigo. Para o anarquista, é claro, quem está no lugar de inimigo é qualquer representante das ficções sociais e da sua tirania; mais ninguém, porque todos os outros homens são homens como ele e camaradas naturais. Ora, você bem vê, o caso da tirania que tínhamos estado criando entre nós não era este; a tirania, que tínhamos estado criando, era exercida sobre homens como nós, camaradas naturais, e, mais ainda, sobre homens duas vezes nossos camaradas, porque o eram também pela comunhão no mesmo ideal. Conclusão: esta nossa tirania, se não era derivada das ficções sociais, também não era derivada das qualidades naturais. E essa perversão, de onde é que provinha?

«Tinha que provir de uma de duas coisas: ou de o homem ser naturalmente mau, e portanto todas as qualidades naturais serem *naturalmente pervertidas;* ou de uma perversão resultante da longa permanência da humanidade numa atmosfera de ficções sociais, todas elas criadoras de tirania, e tendente, portanto, a tornar já instintivamente tirânico o uso mais natural das qualidades mais naturais. Ora, destas duas hipóteses, qual é que seria a verdadeira? De um modo satisfatório — isto é, rigorosamente lógico ou científico — era impossível determinar. O raciocínio não pode entrar com o problema, porque ele é de ordem histórica, ou científica, e depende do conhecimento de *factos.* Por seu lado, a ciência também nos não ajuda, porque, por mais longe que recuemos na história, encontramos sempre o homem vivendo sob um ou outro sistema de tirania social, e portanto sempre num estado que nos não permite averiguar como é o homem quando vive em circunstâncias pura e inteiramente naturais. Não havendo maneira de determinar ao certo, temos que pender para o lado da maior probabilidade; e a maior probabilidade está na segunda hipótese. É mais natural supor que a longuíssima permanéncia da humanidade em ficções sociais criadoras de tirania faça cada homem nascer já com as suas qualidades naturais pervertidas no sentido de tiranizar espontáneamente, mesmo em quem não pretenda tiranizar, do que supor que qualidades naturais podem ser naturalmente pervertidas, o que, de certo modo, representa uma contradição. Por isso o pensador decide-se, como eu me decidí, com uma quase absoluta segurança, pela segunda hipótese.

«Temos, pois, que uma coisa é evidente… No estado social presente não é possível um grupo de homens, por bem intencionados que estejam todos, por preocupados que estejam todos só em combater as ficções sociais e em trabalhar pela liberdade, trabalharem juntos sem que espontaneamente criem entre si tirania, sem criar entre si uma tirania nova, suplementar à das ficções sociais, sem destruir na

prática tudo quanto querem na teoria, sem involuntariamente estorvar o mais possível o próprio intuito que querem promover. O que há a fazer? É muito simples… É trabalharmos todos para o mesmo fim, *mas separados.*

— Separados?!

— Sim. Você não seguiu o meu argumento?

— Segui.

— E não acha lógica, não acha fatal esta conclusão?

— Acho, sim acho… O que não vejo bem é como isso…

— Já vou esclarecer… Disse eu: trabalharmos todos para o mesmo fim, mas separados. Trabalhando todos para o mesmo fim anarquista, cada um contribuí com o seu esforço para a destruição das ficções sociais, que é para onde o dirige, e para a criação da sociedade livre do futuro; e trabalhando separados não podemos, *de modo nenhum,* criar tirania nova, porque nenhum tem acção sobre outro, e não pode portanto, nem, dominando-o, diminuir-lhe a liberdade, nem, auxiliando-o, apagar-lha.

«Trabalhando assim separados e para o mesmo fim anarquista, temos as duas vantagens — a do esforço conjunto, e a da não-criação de tirania nova. Continuamos unidos, porque o estamos moralmente e trabalhamos do mesmo modo para o mesmo fim; continuamos anarquistas, porque cada um trabalha para a sociedade livre; mas deixamos de ser traidores, voluntários ou involuntários, à nossa causa, deixamos mesmo de poder sê-lo, porque nos colocamos, pelo trabalho anarquista isolado, fora da influência deletéria das ficções sociais, no seu reflexo hereditário sobre as qualidades que a Natureza deu.

«É claro que toda esta táctica se aplica ao que eu chamei o *período de preparação* para a revolução social. Arruinadas as defesas burguesas, e reduzida a sociedade inteira ao estado de aceitação das doutrinas anarquistas, faltando só fazer a revolução social, então, para o golpe final, é que não pode continuar a acção separada. Mas, nessa altura, já a sociedade livre estará virtualmente chegada; já as coisas serão de outra maneira. A táctica a que me refiro só diz respeito à acção anarquista em meio da sociedade burguesa, como agora, como no grupo a que eu pertencia.

«Era esse — até que enfim! — o verdadeiro processo anarquista. Juntos, nada valíamos, que importasse, e, ainda por cima, nos tiranizávamos, e nos estorvávamos uns aos outros e às nossas teorías. Separados, pouco também conseguiríamos, mas ao menos não estorvávamos a liberdade, não criávamos tirania nova; o que conseguíamos, pouco que fosse, era realmente conseguido, sem desvantagem nem perda. E, de mais a mais, trabalhando assim separados, aprendíamos a confiar mais em nós mesmos, a não nos encostarmos uns aos outros, a tornarmo-nos mais livres já, a

prepararmo-nos, tanto pesso-almente, como aos outros pelo nosso exemplo, para o futuro.

«Fiquei radiante com esta descoberta. Fui logo expô-la aos meus camaradas… Foi uma das poucas vezes em que fui estúpido na minha vida. Imagine você que eu estava tão cheio da minha descoberta que esperava que eles concordassem!..

— Não concordaram, é claro…

— Repontaram, meu amigo, repontaram todos! Uns mais, outros menos, tudo protestou!.. Não era isso!.. Isso não podia ser!.. Mas ninguém dizia o que era ou o que é que havia de ser. Argumentei e argumentei, e, em resposta aos meus argumentos, não obtive senão frases, lixo, coisas como essas que os ministros respondem ñas câmaras quando não têm resposta nenhuma… Então é que eu vi com que bestas e com que cobardóes estava metido! Desmascararamse. Aquela corja tinha nascido para escravos. Queriam ser anarquistas à custa alheia. Queriam a liberdade, logo que fossem os outros que lha arranjassem, logo que lhes fosse dada como um rei dá um título! Quase todos eles são assim, os grandes lacaios!

— E você, escamou-se?

— Se me escamei! Enfureci-me! Pus-me aos coices. Dei por paus e por pedras. Quase que me peguei com dois ou três deles. E acabei por me vir embora. Isolei-me. Veio-me um nojo àquela carneirada toda, que você não imagina! Quase que descri do anarquismo. Quase que decidí não me importar mais com tudo aquilo. Mas, passados uns dias, voltei a mim. Pensei que o ideal anarquista estava acima destas quezílias. Eles não queriam ser anarquistas? Sê-lo-ia eu. Eles queriam só brincar aos libertários? Não estava eu para brincar num caso desses. Eles não tinham força para combater senão encostados uns aos outros, e criando, entre si, um simulacro novo da tirania que diziam querer combater? Pois que o fizessem, os parvos, se não serviam para mais. Eu é que não ia ser burgués por tão pouco.

«Estava estabelecido que, no verdadeiro anarquismo, cada um tem que, por suas próprias forças, criar liberdade e combater as ficčões sociais. Pois por minhas próprias forças eu ia criar liberdade e combater as ficções sociais. Ninguém queria seguir-me no verdadeiro caminho anarquista? Seguiria *eu* por ele. Iria eu só, com os meus recursos com a minha fé, desacompanhado até do apoio mental dos que tinham sido meus camaradas, contra as ficções sociais inteiras. Não digo que fosse um belo gesto, nem um gesto heróico. Foi simplesmente um gesto natural. Se o caminho tinha que ser seguido por cada um separadamente, eu não precisava de mais ninguém para o seguir. Bastava o meu ideal. Foi baseado nestes princípios e nestas circunstências que decidi, por mim só, combater as ficções sociais.

Suspendeu um pouco o discurso, que se lhe tornara quente e

fluido. Retomou-o dali a pouco, com a voz já mais sossegada.

* * *

— É um estado de guerra, pensei eu, entre mim e as ficções sociais. Muito bem. O que posso eu fazer contra as ficções sociais? Trabalho sozinho, para não poder, de modo nenhum, criar qualquer tirania. Como posso eu colaborar sozinho na preparação da revolução social, na preparação da humanidade para a sociedade livre? Tenho que escolher um de dois processos, dos dois processos que há; caso, é claro, não possa servir-me de ambos. Os dois processos são a acção indirecta, isto é, a propaganda, e a acção directa, de qualquer espécie.

«Pensei primeiro na acção indirecta, isto é, na propaganda. Que propaganda poderia eu fazer só por mim? À parte esta propaganda que sempre se vai fazendo em conversa, com este ou aquele, ao acaso e servindo-nos de todas as oportunidades, o que eu quería saber era se a acção indirecta era um caminho por onde eu pudesse encaminhar a minha actividade de anarquista energicamente, isto é, de modo a produzir resultados sensíveis. Vi logo que não podia ser. Não sou orador e não sou escritor. Quero dizer: sou capaz de falar em público, se for preciso, e sou capaz de escrever um artigo de jornal; mas o que eu queria averiguar era se o meu feitio natural indicava que, especializando-me na acção indirecta, de qualquer das duas espécies ou em ambas, eu poderia obter resultados *mais positivos* para a ideia anarquista que especializando os meus esforços em qualquer outro sentido. Ora a acção é sempre mais proveitosa que a propaganda, excepto para os indivíduos cujo feitio os indica essencialmente como propagandistas — os grandes oradores, capazes de electrizar multidões e arrastá-las atrás de si, ou os grandes escritores, capazes de fascinar e convencer com os seus livros. Não me parece que eu seja muito vaidoso, mas, se o sou, não me dá, pelo menos, para me envaidecer daquelas qualidades que não tenho. E, como lhe disse, nunca me deu para me julgar orador ou escritor. Por isso abandonei a ideia da acção indirecta como caminho a dar à minha actividade de anarquista. Por exclusão de partes, era forçado a escolher a acção directa, isto é, o esforço aplicado à prática da vida, à vida real. Não era a inteligência, mas a acção. Muito bem. Assim seria.

«Tinha eu pois que aplicar à vida prática o processo fundamental de acção anarquista que eu já tinha esclarecido — combater as ficções sociais sem criar tirania nova, criando já, caso fosse possível, qualquer coisa da liberdade futura. Ora como diabo se faz isso na prática?

«Ora o que é combater na prática? Combater na prática é a guerra, é *uma* guerra, pelo menos. Como é que se faz guerra ás ficções

sociais? Antes de mais nada, como é que se faz guerra? Como é que se vence o inimigo em qualquer guerra? De uma de duas maneiras: ou matando-o, isto é, destruindo-o; ou aprisionando-o, isto é, subjugando-o, reduzindo-o à inactividade. *Destruir* as ficções sociais não podia eu fazer; *destruir* as ficções sociais só o podia fazer a revolução social. Até ali, as ficções sociais podiam estar abaladas, cambaleando, por um fio; mas *destruídas,* só o estariam com a vinda da sociedade livre e a queda positiva da sociedade burguesa. O mais que eu poderia fazer nesse sentido era destruir — destruir no sentido físico de matar — um ou outro membro das classes representativas da sociedade burguesa. Estudei o caso, e vi que era asneira. Suponha você que eu matava um ou dois, ou uma dúzia de representantes da tirania das ficções sociais… O resultado? As ficções sociais ficavam mais abaladas? Não ficavam. As ficções sociais não são como uma situação política que pode depender de um pequeño número de homens, de um só homem por vezes. O que há de mau ñas ficções sociais são elas, no seu conjunto, e não os indivíduos que as representam senão por serem representantes délas. Depois, um atentado de ordem social produz sempre uma reacção; não só tudo fica na mesma, mas, as mais das vezes, piora. E, ainda por cima, suponha, como é natural, que, depois de um atentado, eu era caçado; era caçado e liquidado, de uma maneira ou outra. E suponha que eu tinha dado cabo de uma dúzia de capitalistas. Em que vinha isso tudo dar, em resumo? Com a minha liquidaçáo, ainda que não por morte, mas por simples prisão ou degredo, a causa anarquista perdía um elemento de combate; e os doze capitalistas, que eu teria estendido, não eram doze elementos que a sociedade burguesa tinha perdido, porque os elementos componentes da sociedade burguesa não são elementos de combate, mas elementos puramente passivos, pois que o «combate» está, não nos membros da sociedade burguesa, mas no conjunto de ficções sociais, em que essa sociedade assenta. Ora as ficções sociais não são gente, em quem se possa dar tiros… Você compreende bem? Não era como o soldado de um exército que mata doze soldados de um exército contrário; era como um soldado que mata doze civis da nação do outro exército. É matar estúpidamente, porque não se elimina combatente nenhum… Eu não podia portanto pensar em *destruir,* nem no todo nem em nenhuma parte, as ficções sociais. Tinha então que subjugá-las, que vencê-las subjugando-as, reduzindo-as à inactividade.

Apontou para mim o indicador direito súbito.

— Foi o que eu fiz!

Retirou logo o gesto, e continuou.

— Procurei ver qual era a primeira, a mais importante, das ficções sociais. Seria a essa que me cumpria, mais que a nenhuma outra, tentar subjugar, tentar reduzir à inactividade. A mais

importante, da nossa época pelo menos, é o dinheiro. Como subjugar o dinheiro, ou, em palavras mais precisas, a força, ou a tirania do dinheiro? Tornando-me livre da sua influência, da sua força, superior portanto à sua influência, reduzindo-o à inactividade pelo que me dizia respeito a mim. Pelo que me dizia respeito *a mim,* compreende você? porque *eu é* que o combada; se fosse reduzi-lo à inactividade pelo que respeita a toda a gente, isso não seria já subjugá-lo, mas *destruí-lo,* porque seria acabar de todo com a ficção dinheiro. Ora eu já lhe proveí que qualquer ficção social só pode ser «destruída» pela revolução social, arrastada com as outras na queda da sociedade burguesa.

«Como podía eu tornar-me superior à força do dinheiro? O processo mais simples era afastar-me da esfera da sua influência, isto é, da civilização; ir para um campo comer raízes e beber água das nascentes; andar nu e viver como um animal. Mas isto, mesmo que não houvesse dificuldade em fazê-lo, não era combater uma ficção social; não era mesmo combater: era fugir. Realmente, quem se esquiva a travar um combate não é derrotado nele. Mas moralmente é derrotado, porque não é derrotado nele. Mas moralmente é derrotado, porque não se bateu. O processo tinha que ser outro — um processo de combate e não de fuga. Como subjugar o dinheiro, combatendo-o? Como furtar-me à sua influência e tirania, não evitando o seu encontro? O processo era só um — *adquiri-lo,* adquiri-lo em quantidade bastante para lhe não sentir a influência; e em quanto mais quanttidade o adquirisse, tanto mais livre eu estaria dessa influência. Foi quando vi isto claramente, com toda a força da minha convicção de anarquista, e toda a minha lógica de homem lúcido, que entrei na fase actual — a comercial e bancária, meu amigo — do meu anarquismo.

Descansou um momento da violência, novamente cres-cente, do seu entusiasmo pela sua exposição. Depois continuou, ainda com um certo calor, a sua narrativa.

— Ora você lembra-se daquelas duas dificuldades lógicas que eu lhe disse que me haviam surgido no princípio da minha carreira de anarquista consciente?… E você lembra-se de eu lhe dizer que naquela altura as resolví artificialmente, pelo sentimento e não pela lógica? Isto é, você mesmo notou, e muito bem, que eu não as tinha resolvido pela lógica…

— Lembro-me, sim…

— E você lembra-se de eu lhe dizer que mais tarde, quando acertei por fim com o verdadeiro processo anarquista, as resolví então de vez, isto é, pela lógica?

— Sim.

— Ora veja como ficaram resolvidas… As dificuldades eram estas:

não é *natural* trabalhar por qualquer coisa, seja o que for, sem uma compensação *natural,* isto é, egoísta; e não é *natural* dar o nosso esforço a qualquer fim sem ter a compensação de saber *que esse fim se atinge.* As duas dificuldades eram estas; ora repare como ficam resolvidas pelo processo de trabalho anarquista que o meu raciocínio me levou a descobrir como sendo o único verdadeiro… O processo dá em resultado eu enriquecer; *portanto, compensação egoísta.* O processo visa ao conseguimento da liberdade; ora eu, tornando-me superior à força do dinheiro, isto é, libertando-me déla, *consigo liberdade.* Consigo liberdade só para mim, é certo; mas é que, como já lhe proveí, a liberdade para todos só pode vir com a destruição das ficções sociais, pela revolução social, e eu, só por mim, não posso fazer a revoluto social. O ponto concreto é este: viso liberdade, consigo liberdade: consigo a liberdade que posso, porque, é claro, não posso conseguir a que não posso… E veja você: á parte o raciocinio que determina este processo anarquista como o único as dificuldades lógicas, que se podem opor a qualquer processo anarquista, mais prova que ele é o verdadeiro.

«Pois foi este o processo que eu segui. Meti ombros à empresa de subjugar a ficção dinheiro, enriquecendo. Consegui. Levou um certo tempo, porque a luta foi grande, mas consegui. Escuso de lhe contar o que foi e o que tem sido a minha vida comercial e bancária. Podia ser interessante, em certos pontos sobretudo, mas já não pertence ao assunto. Trabalhei, lutei, ganhei dinheiro; trabalhei mais, lutei mais, ganhei mais dinheiro; ganhei muito dinheiro por fim. Não olhei a processos — confesso-lhe, meu amigo, que não olhei a processos; empreguei tudo quanto há — o açambarcamento, o sofisma financeiro, a própria concorréncia desleal. O quê?! Eu combatía as ficções sociais, imorais e antinaturais por excelência, e havia de olhar a processos?! Eu trabalhava pela liberdade, e havia de olhar às armas com que combatía a tirania?! O anarquista estúpido, que atira bombas e dá tiros, bem sabe que mata, e bem sabe que as suas doutrinas não incluem a pena de morte. Ataca uma imoralidade com um crime, porque acha que essa imoralidade vale um crime para se destruir. Ele é estúpido quanto ao processo, porque, como já lhe mostrei, esse processo é errado e contraproducente *como processo anarquista;* agora quanto à *moral* do processo ele é inteligente. Ora o meu processo estava certo, e eu servia-me legitimamente, como anarquista, de todos os meios para enriquecer. Hoje realizei o meu limitado sonho de anarquista prático e lúcido. Sou livre. Faço o que quero, dentro, é claro, do que é possível fazer. O meu lema de anarquista era a liberdade; pois bem, tenho a liberdade, a liberdade que, por enquanto, na nossa sociedade imperfeita, é possível ter. Quis combater as forças sociais; combati-as, e, o que é mais, venci-as.

— Alto lá! alto lá! — disse eu. — Isso estará tudo muito bem, mas há uma coisa que você não viu. As condições do seu processo eram, como você provou, não só criar liberdade, mas também *não criar tirania.* Ora você criou tirania. Você como açambarcador, como banqueiro, como financeiro sem escrúpulos — você desculpe, mas você é que o disse —, você criou tirania. Você criou tanta tirania como qualquer outro representante das ficções sociais, que você diz que combate.

— Não, meu velho, você engana-se. Eu não criei tirania. A tirania, que pode ter resultado da minha acção de combate contra as ficções sociais, é uma tirania que não parte de mim, que portanto eu não criei; *está ñas ficções sociais, eu não ajuntei a elas.* Essa tirania *é a própria tirania das ficções sociais;* e eu não podia, nem me propus, destruir as ficções sociais. Pela centésima vez lhe repito: só a revoluçã social pode *destruir* as ficões sociais; antes disso, a acção anarquista perfeita, como a minha, só pode *subjugar* as fições sociais, subjugá-las em relação só ao anarquista que põe esse processo em prática, porque esse processo não permite uma mais larga sujeição dessas ficções. Não é de não criar tirania que se trata: é de não criar *tirania nova, tirania onde não estava.* Os anarquistas, trabalhando em conjunto, influenciando-se uns aos outros como eu lhe disse, criam *entre si,* fora e à parte das ficções sociais, uma tirania; *essa* é que é uma tirania nova. Essa, eu não a criei. Não a podia mesmo criar, *pelas próprias condições do meu processo.* Não, meu amigo; eu só criei liberdade. Libertei um. Libertei-me a *mim.* É que o meu processo, que é, como lhe proveí, o único verdadeiro processo anarquista, me não permitiu libertar mais. O que pude libertar, libertei.

— Está bem… Concordo… Mas olhe que, por esse argumento, a gente quase que é levada e crer que nenhum representante das ficções sociais exerce tirania…

— E não exerce. A tirania é das ficções sociais e não dos homens que as encamam; esses são, por assim dizer, *os meios* de que as ficções se servem para tiranizar, como a faca é o meio de que se pode servir o assassino. E você decerto não julga que abolindo as facas abóle os assassinos… Olhe… Destrua você *todos* os capitalistas do mundo, mas *sem destruir o capital…* No dia seguinte o capital, já ñas mãos de outros, continuará, por meio *desses,* a sua tirania. Destrua, não os capitalistas, mas o capital; quantos capitalistas ficam?… Vê?…

— Sim; você tem razão.

— Ó filho, o máximo, o máximo, o máximo que você me pode acusar de fazer é de aumentar um pouco — muito, muito pouco — a tirania das ficções sociais. O argumento é absurdo, porque, como já lhe disse, a tirania que eu não devia criar, e não criei, é outra. Mas nem mais um ponto fraco: é que, pelo mesmo raciocinio, você pode

acusar um general, que trava combate pelo seu país, de causar ao seu país o prejuízo do número de homens *do seu próprio exército* que teve de sacrificar para vencer. Quem vai à guerra, dá e leva. Consiga-se o principal; o resto…

— Está muito bem… Mas olhe lá outra coisa… O verdadeiro anarquista quer a liberdade não só para si, mas também para os outros… Parece-me que quer a liberdade para a humanidade inteira…

— Sem dúvida. Mas eu já lhe disse que, pelo processo que descobri que era o único processo anarquista, cada um tem de libertar-se a si próprio. Eu libertei-me a mim; fiz o meu dever simultáneamente para comigo e para com a liberdade. Por que é que os outros, os meus camaradas, não fizeram o mesmo? Eu não os impedi. Esse é que teria sido o crime, se eu os tivesse impedido. Mas eu nem sequer os impedi ocultando-lhes o verdadeiro processo anarquista; logo que descobri o processo, disse-o claramente a todos. O próprio processo me impedia de fazer mais. Que mais podia fazer? Compeli-los a seguir o caminho? Mesmo que o pudesse fazer, não o faria, porque seria tirar-lhes a liberdade, e isso era contra os meus principios anarquistas. Auxiliá-los? Também não podia ser, pela mesma razão. Eu nunca ajudei, nem ajudo, ninguém, porque isso, sendo diminuir a liberdade alheia, é também contra os meus principios. Você o que me está censurando é eu não ser mais gente que uma pessoa só. Por que me censura o cumprimento do meu dever de libertar, até onde eu o podia cumprir? Por que não os censura antes a eles por não terem cumprido o deles?

— Pois sim, homem. Mas esses homens não fizeram o que você fez, naturalmente, porque eram menos inteligentes que você, ou menos fortes de vontade, ou…

— Ah, meu amigo: essas são já as desigualdades naturais, e não as sociais… Com essas é que o anarquismo não tem nada. O grau de inteligência ou de vontade de um individuo é com ele e com a Natureza; as próprias ficções sociais não põem para aí nem prego nem estopa. Há qualidades naturais, como eu já lhe disse, que se pode presumir que sejam pervertidas pela longa permanéncia da humanidade entre ficções sociais; mas a perversão não está no *grau* da qualidade, que é absolutamente dado pela Natureza, mas na *aplicação* da qualidade. Ora uma questão de estupidez ou de falta de vontade não tem que ver com a aplicação dessas qualidades, mas só com o grau délas. Por isso lhe digo: essas são já absolutamente as desigualdades naturais, e sobre essas ninguém tem poder nenhum, nem há modificação social que as modifique, como não me pode tornar a mim alto ou a você baixo…

«A não ser… A não ser que, no caso desses tipos, a perversão hereditária das qualidades naturais vá tão longe que atinja o próprio

fundo do temperamento… Sim, que um tipo nasça para escravo, nasça naturalmente escravo, e portanto incapaz de qualquer esforgo no sentido de se libertar… Mas nesse caso…, nesse caso…, que tem ele que ver com a sociedade livre, ou com a liberdade?… Se um homem nasceu para escravo, a liberdade, sendo contrária à sua índole, será para ele uma tirania.

Houve uma pequeña pausa. De repente ri alto.

— Realmente — disse eu —, você é anarquista. Em todo o caso, dá vontade de rir, mesmo depois de o ter ouvido, comparar o que você é com que são os anarquistas que pr'aí há…

— Meu amigo, eu já lho disse, já lho provei, e agora repito-lho… A diferença é só esta: eles são anarquistas só teóricos, eu sou teórico e prático; eles são anarquistas místicos, e eu científico; eles são anarquistas que se agacham, eu sou um anarquista que combate e liberta… Em uma palavra: eles são pseudo-anarquistas, e eu sou anarquista.

E levantámo-nos da mesa.

Lisboa, Janeiro de 1922.

Crónica decorativa I

A circunstância humana de eu ter amigos fez com que ontem me acontecesse vir a conhecer o Dr. Boro, professor da Universidade de Tóquio. Surpreendeu-me a realidade quase evidente da sua presenga. Nunca supus que um professor da Universidade de Tóquio fosse uma criatura, ou sequer coisa, real.

O Dr. Boro — sinto que me custa doutorá-lo — pareceu-me escandalosamente humano e parecido com gente. Vibrou um golpe, que me esforço por desviar de decisivo, ñas minhas ideias sobre o que é o Japão. Trajava à europeia, e, como qualquer mero professor existente na Universidade de Lisboa,tinha o casaco por escovar. Ainda assim, por delicadeza, dei-me por ciente, durante duas horas, da sua presença próxima.

Preciso explicar que as minhas ideias do Japão, da sua flora e da fauna, dos seus habitantes humanos e das várias modalidades de vida que lhes são próprias, derivam de um estudo demorado de vários bules e chávenas. Eu por isso sempre julguei que um japonês ou uma japonesa tivesse apenas duas dimensões; e essa delicadeza para com o espaço deu-me uma afeição doentia por aquele país económico de realidade. O professor Boro é sólido, tem sombra — várias vezes fiz com que o meu olhar o verificasse — e além de falar e falar inglés, coloca ideias e noções compreensíveis dentro das suas palavras. A circunstância de que as suas ideias não comportam nem novidade nem relevo apenas o aproxima dos professores europeus, pavorosamente europeus, que conheço.

Além disto, o professor Boro tem movimento, deslocase, não sei como, de um lado para o outro, o que, feito perante quem sempre teve o Japão por uma nação de quadro, parada e apenas real sobre transparéncia de louça, é requintadamente ordinário e desiludidor.

Falámos de política internacional, da guerra europeia, e fizemos várias incursões pelos vários fenómenos literários característicos da nossa época. A ignorância que o professor Boro tinha de futurismo foi a única benzina para a nódoa da sua realidade moderna. Mas há algum professor de alguma Universidade da Europa que siga de perto os movimentos da arte contemporânea?

Dado os factos que venho explicando, compre-ende-se que eu fosse avaro de o interrogar sobre o Japão. Para quâ? Ele era capaz de atirar para dentro da minha ignoráncia uma quantidade de coisas falsas. Quem sabe se ele se atrevería a insinuar pela conversa fora, como coisa normalmente acreditável, que no Japão há problemas económicos, dificuldades de vida para várias pessoas, cidades com lojas reais, campos com colheitas como as nossas, exércitos realmente

parecidos com os da Europa e com execráveis aperfeiçoamentos científicos para guerras em verdade contemporáneas? Daqui ele não hesitaría talvez em me afirmar — com que cinismo nem eu mego — que no Japão os homens têm relaçóes sexuais com as mulheres, que nascem crianzas, que a gente de lá, em vez de estar sempre vestida como as figuras da louça japonesa, despe-se e veste-se como se fosse europeia. Por isso não tratámos do Japão. Perguntei ao professor se ele tinha tido uma boa viagem, e ele caiu em dizer-me que não — como se um estudioso como eu da porcelana nipónica pudesse admitir que há más viagens para os japoneses, que — delicioso povo! — nem sequer se dá ao trabalho de existir. As chávenas partem-se, não comportam tormentas. A frase «uma tempestade num copo de água» ou «numa chávena», como dizem outros, é puramente europeia.

Uma frase houve (casual, quero crer, no professor Boro) que me magoou mais do que outra.

Falávamos — eu, é claro, com o desprendimento com que se tratam estes assuntos feéricos — da influência dos mecanismos sobre a psicología do operário, quando se sabe — claro está — que o operário não tem psicología. E o professor referiu-se aos progressos industriáis do Japão e acrescentou urnas palavras, que me esforcei com metade de êxito para não ouvir, sobre (creio) movimentos operários no Japão e um fuzilamento (suponho) de não sei que chefe socialista. Eu há tempos — numa coluna sem dúvida humorística de um diário — vira em um telegrama de Tóquio constando qualquer coisa nesse tom; mas, além de não crer que de Tóquio se mandassem telegramas — visto Tóquio não dever ter mais do que duas dimensães —, ninguém que como eu tenha estudado a psicología japonesa através das chávenas e dos pires, admite progressos de qualquer espécie no Japão, indústrias japonesas, movimentos socialistas e chefes socialistas, ainda por cima fuzilados, como quaisquer europeus que vivem. Quem como eu conhece bem o Japão — o verdadeiro Japão, de porcelana e erros de desenho —, compreende bem a incompati-bilidade entre o progresso, indústria e socialismo, e a absoluta não-existência daquele país. Socialistas japoneses! Uma contradição flagrante! Uma frase sem sentido, como «círculo quadrado»! Se nem o inexistente estivesse livre do socialismo! Aquelas figuras deliciosas, eternamente sentadas ao pé de casas do tamanho délas, à beira de lagos absurdos, de um azul impossível, aquém de montanhas totalmente irreais — essas maravilhosas figuras, com uma perfeita e patriótica individualidade japonesa, não pertencem decerto ao horroroso mundo onde se progride, e onde sobre o artista desabam a morbidez do produtivo e a barbárie do humanitário.

E vem querer tirar-me estas convicções o professor Boro, da Universidade de Tóquio! Não mas tira. Não é para ser enganado pela

primeira realidade que se me atira aos olhos que eu tenho gasto minutos distensos na contemplação científica e estéril de bules e chávenas japonesas. O mais provável, a respeito deste Boro, é que nascesse em Lisboa e se chame José. Do Japão, ele? Nunca.

Se ao menos achei japonesa a sua cara? Absolutamente nada. Basta dizer que era real e existiu ali diante de mim, duas dolorosas horas, em plena ocupaço inestética de todas as dimensões aproveitáveis (felizmente só três) do espaço autêntico. A sua cara parecia-se, é certo, com certas fotografias de «japoneses» que as ilustrações trouxeram há anos, e de vez em quando reincidindo trazem; mas toda a gente que sabe o que é o Japão ppor nunca lá ter ido sabe de cor que aquilo não são japoneses. E, de mais a mais, essas ilustrações eram principalmente de generáis, almirantes, e operações guerreiras. Ora é absolutamente impossível que no Japão haja generáis, almirantes e guerra. Como, de resto, fotografar o Japão e os japoneses? A primeira coisa real que há no Japão é o facto de ele estar sempre longe de nós, estejamos nós onde estivermos. Não se pode lá ir, nem eles podem vir até nós. Concedo, se me forgarem a isso, que existam um Tóquio e um Iocoama. Mas isso não é no Japão, é apenas no Extremo Oriente.

O resto da minha vida, doravante, será escrupulosamente dedicado a esquecer o professor Boro e que ele — impronunciável absurdo! — se sentou na cadeira que está agora, na realidade de madeira, defronte de mim. Considero doentio esse facto, alucinatório talvez, e entrego-me com assiduidade a não me lembrar dele mais. Um japonês verdadeiro aqui, a falar comigo, a dizer-me coisas que nem mesmo eram falsas ou contraditórias! Não. Ele chama-se José e é de Lisboa. Falo simbolicamente, é claro. Porque ele pode chamar-se Macwhisky e ser de Inverness. O que ele não era decerto era japonês, real, e possível visitante de Lisboa. Isso nunca. Desse modo não havia ciência, se o primeiro ocasional nos viesse negar o que os nossos estudos assíduos nos fizeram ver.

Professor Boro, da Universidade de Tóquio? De Tóquio? Universidade de Tóquio? Nada disso existe. Isso é uma ilusão. Os inferiores e cábulas de nós construíram, para se não desorientarem, um Japão à imagem e semelhança da Europa, desta triste Europa tão excessivamente real. Sonhadores! Alucinados!

Basta-me olhar para aquela bandeja, pegar cariciosamente com o olhar naquele serviço de chá. Depois venham falar-me em Japão existente, em Japão comercial, em Japão guerreiro! Não é para nada que, através de esforgos consecutivos, a nossa época ganhou o duro nome de científica. Japoneses com vida real, com três dimensões, com uma pátria com paisagens de cores autênticas! Lérias para entretenimento do povo, mas que a quem estudou não enganam…

Crónica decorativa II

Soube hoje uma coisa que me desgostou — que a Pérsia realmente existe. Eu julgava que a Pérsia era apenas o nome especial que se dava à beleza de certos tapetes. Agora parece que um explorador moderno afirma a sua existência. Se bem que os exploradores modernos sejam, como em geral todos os homens de ciência, susceptíveis de erro mais que os outros homens, disse-me há pouco um jornalista que o facto merece crédito. A ser verdade (eu ainda hesito) resta saber que nome se vai dar de hoje em diante aos tapetes persas. E a poesia persa — a propósito — que nova denominado vai ter?

Serve-me este assunto de tema para expor certas opiniões que há muito tempo uso sobre o modo extraordinariamente intenso como, de há tempo para cá, a ciência grassa e o espírito científico nos ataca. Se daqui a pouco o pólo sul vai também desatar a ser real, não sei a que ponto chegaremos. Breve existirá tudo e não está longe o dia, talvez, em que basta sonharmos uma rainha medieval para ela nos entrar, contemporânea e anatomizável, pela porta dentro, depois de bater à realidade da campainha e se fazer anunciar pela presença beiroa da criada.

Afirmou-me um amigo meu, o qual, por culto, me merece um crédito dubitante, que lera em livro de Guyau que um Keats brindara coisas más para a memória de Newton porque ele fizera qualquer coisa como descobrir leis que tinham que ver com os astros. Se ponho certo vago na minha descrição é porque não tenho a mínima ideia do que Newton fez ou descobriu. O facto, agora, é o brinde de Keats. Esse brinde contém uma intuição justa. A aplicação é que é péssima. Não fez mal a ninguém descobrir as leis dos astros. Eles sempre foram visíveis. E a sua boa qualidade de serem longínquos, não lha tirou a descoberta de Newton, fosse ela qual fosse; e, de mais a mais, essa descoberta, sendo matemática e portanto totalmente com feição de falsa, fez, do mal inevitável, o menos possível.

Desviei-me um parágrafo do assunto, para poder ver bem o que me convinha ter sempre pensado dele. Estou agora de posse da ideia de que sempre concordei com a essência do brinde de Keats. É necessário, pondo o problema no campo político e social (aqui vem a minha originalidade), estudar como se deve coibir e disciplinar utilmente a acção da investigação, da exploração e da ciência em geral.

Que a existência de laboratórios seja uma mancha sobre a nossa civilização — ninguém de ânimo firme o nega, ou também que as perigosas facilidades dadas ao trânsito por térras secularmente

entregues à tradicional actividade dos salteadores, e mares donde o carácter revolucionário da civilização moderna baniu a instituição dos piratas, seja um dos mais licenciosos resultados da Revolução Francesa e do espírito anarquista em geral. Mas, em lugar de se atentar para estas deficiências de disciplina e de ordem que repugnam tanto ao espírito positivo como ao são critério expresso na máxima de São Tomás de Aquino — *eadem res generatur et conservantur in esse* —, o exagerado amor ao sensacionalismo da vida moderna, e a doentia tendência para acreditar ñas informações dos jornais têm favorecido, sem que alguém pense em as dever evitar, o desenvolvimento do espírito científico.

Por ora as consequências da fraqueza das instituições democráticas têm sido notadas. Salvo o facto — contestável, de resto, manda a verdade que se diga — da descoberta do pólo norte, e agora este, recentíssimo, da afirmação da existência da Pérsia, poucas têm sido as consequências notáveis. Mas se repararmos o que esses dois factos já por si representam, de chofre nos ocorrerá qual o perigo crescente e assolapado que nos confronta e breve, visível e inevitável, se erguerá diante de nós.

Urge para já a constituição de uma Liga Anticientífica onde se defendam os impreteríveis direitos que as térras desconhecidas têm de permanecer desconhecidas, e os países inexistentes de não verem de um día para o outro violada a sua neutralidade e forçados a entrar ñas campanhas da realidade. Nem se pode dizer que isto esteja fora dos bons princípios liberáis. O partido liberal inglês — partido representativo, mais do que nenhum, do liberalismo — teve quase sempre por doutrina (salvo, é claro, nos casos de utilidade nacional), por inviolável, a vida e instituições dos outros países. E ao mesmo tempo, esta doutrina é a sã e pura atitude conservadora, dado que o que se pretende defender é a Tradição, a Ordem, a Disciplina Social.

Na nossa política tem-se visto recentemente o resultado desta táctica revolucionária. Um grupo de dementados tem recentemente insistido pela implantação da monarquia no nosso país. Atentam assim, de ânimo leve, contra o carácter tradicional da monarquía, que é o de existir belamente e entusiasticamente — e isso só se pode dar estando ele sempre no passado e por isso acima das paixões e das flutuações do sentimentalismo humano. E atentam contra o sagrado princípio da Tradição, que exige e sempre exigiu que a Tradição ficasse no passado, sem que o presente lhe tocasse ou a atingisse, servindo-se dela.

É desolador este estado de coisas. Ninguém pensa para onde vai, o que será o dia de amanhã. Para alguns ele deve ser ontem. Assim passam, entre dúvidas e tédios, os nossos tristes e cansados dias.

Impõe-se uma reacção enérgica e disciplinada. Por toda a parte o

espírito revolucionário e o excesso de espírito científico — ou, melhor, o espírito científico indisciplinado — pretendem avassalar a realidade. Ontem foi o pólo norte declarado descoberto. Todo o conservador estremeceu. Hoje é a Pérsia declarada existente. Todo aquele para quem a Tradição representa mais alguma coisa de que um nome sentiu as lágrimas chegarem-lhe aos olhos. Não pesou nada na balança dos escrúpulos dos cientistas a beleza dos poemas de um Hafiz, de um Rumi, de um Omar Khayyam. Foi em vão que estes grandes nomes do Passado tornaram grande e irreal e falsa a sua Pátria. Nada é sagrado para os demagogos de hoje. Que mais pretendem? Quanto mais váo ousar? Só lhes falta provar que Cristo foi uma realidade, que existiu o Império Romano, que as lutas políticas da Grécia tiveram lugar realmente. Que mais querem, os novos bárbaros?

Este grito é, bem o sei, lançado aos ventos. Nenhuma Liga Anticientífica se formará. Ninguém fará soar a sua voz de acordo com a minha contrta a invasão destes desintegradores da sociedade. Ficará tudo entregue aos «progressos» do espírito «científico». Hoje não podemos ter tapetes persas. Já tínhamos perdido as paisagens polares. Amanhã irão as sedas da China, as cutelarias do velho Japão. Assim progressivamente escassearão as subsistências e dentro em breve, absorvidos pela animalidade, ver-nos-emos obrigados a viver na terra como qualquer animal, a ter saúde como qualquer larva, a acreditar na vida como uma patagónia ou um cherokee.

Que o sábio que daqui a dez mil anos estudar a nossa civilização extinta, aplicando-se à época da decadência, possa, lendo estas linhas de um homem amante da Tradição e da Ordem, verificar que nem todos se deixaram ir na maré, que uma voz houve que se erguesse no meio da cobardía da aceitação universal.

A rosa de seda (fábula)

Num fabulário ainda por encontrar será um día lida esta fábula:

A uma bordadora dum país longínquo foi encomendado pela sua rainha que bordasse, sobre seda ou cetim, entre fo-lhas, uma rosa branca. Abordadora, como era muitojovem, foi procurar por toda a parte aquela rosa branca perfeitíssima, em cuja semelhança bordasse a sua. Mas sucedia que umas rosas eram menos belas do que lhe convinha, e que outras não eram brancas como deviam ser. Gastou dias sobre dias, chorosas horas, buscando a rosa que imitasse com seda, e, como nos países longínquos nunca deixa de haver pena de morte, ela sabia bem que, pelas leis dos contos como este, não podiam deixar de a matar se ela não bordasse a rosa branca.

Por fim, não tendo melhor remédio, bordou de memória a rosa que lhe haviam exigido. Depois de a bordar foi compará-la com as rosas brancas que existem realmente nas roseiras. Sucedeu que todas as rosas brancas se pareciam exactamente com a rosa que ela bordara, que cada urna delas era exactamente aquela.

Ela levou o trabalho ao palácio e é de supor que casasse com o príncipe.

No fabulário onde vem, esta fábula não traz moralidade. Mesmo porque, na idade de ouro, as fábulas não tinham moralidade nenhuma.

Empresa fornecedora de mitos, Ida

— Está ali, disse a criada, um sujeito que lhe quer falar.

— Não disse quem era? perguntei.

— Deu este bilhete, disse ela sem salva.

Pequei no bilhete, e o que li nele fez com que me sentasse direito na cadeira, contra todas as tradições que acumulei na minha vida sem decisões.

O bilhete dizia assim predominantemente:

EMPRESA FORNECEDORA DE MITOS, LIMITADA.

E, por baixo, lia-se, a subordinação do costume:

«Representada por…»

— Este sujeito perguntou por mim? inquirí déla.

— Perguntou pelo «senhor»…

— Bem, disse, manda-o entrar…

O cartão não dizia morada, nem, além destas, trazia uma indicação qualquer.

O caixeiro de praça, ou viajante, entrou no meu gabinete com a segurança física que é peculiar da classe. Diferençava-se dos congéneres meus conhecidos em não trazer mala nem sorriso. Cumprimentou-me cerimoniosamente, com um abaixar leve da cabeça. Indiquei-lhe que se sentas-se. Sentou-se, e fitou-me um momento.

— Desejava?.. meio perguntei.

Ele curvou-se levemente para mim, e começou a expor a sua missão numa voz que, sem deixar de ser um pouco monótona, não o era contudo desagradavelmente.

— Antes de lhe explicar, com a devida minúcia, a natureza e qualidades dos artigos que tenho a oferecer, desejava fazer-lhe, se mo permite, uma breve exposição das razões que levaram a casa que represento — primeiro, a fundar-se, segundo, a produzir, com a ciência e o escrúpulo que mostrarei, as qualidades e tipos de artigos em que se especializou industrialmente.

Acenei que sim, vagamente, percebendo só, por enquanto, que nada por enquanto percebia.

O meu visitante, que fitara o chão um momento, tornou em breve a erguer a cabeça.

— A sociedade compõe-se de três camadas distintas. A primeira é a dos criadores de mitos, e é a verdadeira aristocracia. Propriamente há criadores e transformadores de mitos — os homens de génio e os de talento, tomando cada palavra um sentido de valia mais alto que

geralmente se lhe concede. — A segunda camada é a dos □[15]. Um soldado que se bate por Napoleão sente em si uma vida mais vasta e grande que o homem que passa na vida nulo, e anónimo para si mesmo.

— Mas, nesse caso, porque protestas contra os mitos revolucionários e radicais modernos?

— Porque esses têm a pretensão de não ser mitos…

— Mas todo o mito, para ter força, tem que impor-se com verdade. Não há cristãos onde se considera como mito o mito cristão.

— Não é bem isso… os mitos revolucionários tenndem a destruir a única realidade, que é a distinção de classes. Aí é que está a sua inutilidade e a sua falsidade social. Que se defenda uma aristocracia diferente da actual, entende-se; mas que se não defenda aristocracia nenhuma…

— Mas pode defender-se uma aristocracia de trabalho, segundo os próprios mitos radicais…

— Propriamente não se defende, mas admita-se que sim… Ora o trabalho não pode ser um mito, porque é uma realidade. Sim: produzir é criar realidade, isto é, coisas inteiramente inúteis. Um mito é a criação de irrealidades isto é, coisas úteis, vivas, que duram e perduram. De todas as indústrias modernas, disse ele, aquela que, sendo embora exercida em larga escala, o é contudo ainda de um modo inteiramente empírico, é a industria política. Ora o caminho natural da invenção — e a nossa época é acentuadamente uma época inventiva — é o de encontrar fórmulas científicas, e processos derivados dessas fórmulas, para eliminar o empirismo, a grosseria técnica, que é o primeiro estádio inevitável de qualquer arte ou de qualquer indústria. Por que razão não se teria ainda alguém lembrado de introduzir a ciência e a técnica racional no empirismo político, destruindo-o e aperfeiçoando a política? Pela simples razão que ninguém ainda disso se tinha lembrado. Até o primeiro que se lembra, ninguém se lembrou, em coisa nenhuma. Ora a minha firma foi a primeira que reparou que estava ainda livre o campo inventivo na indústria política. A minha firma inventou os processos técnicos desta indústria.

* * *

E desapareceu, sem mala e sempre sem o sorriso, do meu limitadíssimo horizonte.

O filatelista
(A inutilidade de dar conselhos)

Eu não aconselho. Colecciono selos. Para dar conselhos é preciso estar absolutamente seguro de que os conselhos são bons, e para isso é preciso estar certo (o que em absoluto ninguém está) que se está na posse da verdade. E, depois, é preciso saber se esses conselhos se adaptam ao indivíduo a que se estão dando, e para isso é preciso conhecer-lhe a alma toda, o que nunca se pode dar. E, além disto, ainda há que o modo de dar os conselhos deve ser exactamente o adaptado àquela alma; aconselham às vezes coisas que não se quer que se façam para, combinadas com elementos outros da alma aconselhada, darem o resultado que se quer. Só gente muito ingénua dá conselhos.

O que nós temos por verdade é apenas a mais provável, ou a mais improvável de várias probabilidades. Assim, qualquer indivíduo, por normalmente certo que no assunto se sinta, não pode jurar, com absoluta consciência intelectual, não só de que tal indivíduo do sexo masculino é seu pai, mas também de que tal outro, do sexo feminino, é sua mãe. Para crer que quem é tido por seu pai o é realmente, o mais que ele tem é, não lhe constando que sua mãe tivesse traído o marido, o julgue que não o fez nunca. Para ter certeza, intelectual, de que tal indivíduo é pai de outro era preciso ter assistido ao acto da fundação, ter inspeccionado de perto a fecundidade — de modo a não haver certeza □ — e ainda assim restava a ideia de paternidade metafisicamente considerada para mais embrulhar o assunto. Quanto a um indivíduo não poder afirmar que tal mulher é sua mãe, quem lhe diz que, parido por ela um ente masculino, este não foi substituído por outro parido, pela ama por exemplo, e por hipótese? O mais que se pode dizer é que isto é improvável — ou antes, que é menos provável que a hipótese contrária. Mas certeza certa propriamente não a há.

O que chamamos *verdade* não o é para certezas, é o que envolve uma improbabilidade menor, uma maior soma de probabilidades. Tanto basta para entreabrir a porta ao suspeitar. E uma porta entreaberta, porque não é uma porta fechada, é uma porta aberta. O suspeitar entra.

A afirmação que o mundo pode bem ser ilógico peca por querer explicar pelo «não ter explicação». Porque não pode o mundo ser ou lógico ou ilógico. E porque não outra coisa ainda que não seja nada?

Três males humanos:

O da acção.

O do pensamento.

O do sentimento — o precisar sentir qualquer coisa ante qualquer coisa.

A dúvida é a certeza de não estar certo.

Sentir talvez afirme de mais.

Três ilusões da acção humana:

— a do pensamento — a ilusão de explicar e resolver.

— a do sentimento — a ilusão de valorizar; ante uma coisa,
de ter de sentir qualquer coisa.

— a da vontade — de agir para qualquer coisa.

— só conhecemos as nossas absorções.

Como encontrar um motivo para agir? Um critério para pensar?

A dúvida é a certeza de não estar certo. Sentir talvez afirme de mais.

O automóvel ia desaparecendo

Eu explico como foi (disse o homem triste que estava com uma cara alegre), eu explico como foi…

Quando tenho um automóvel, limpo-o. Limpo-o por diversas razões: para me divertir, para fazer exercícios, para ele não fícar sujo.

O ano passado comprei um carro muito azul. Também limpava esse carro. Mas, cada vez que o limpava, ele teimava em se ir embora. O azul ia empalidecendo, e eu e a camurça é que ficávamos azuis. Não riam… A camurça fícava realmente azul: o meu carro ia passando para a camurça. Afinal, pensei, não estou limpando este carro: estou-o desfazendo.

Antes de acabar um ano, o meu carro estava metal puro: não era um carro, era uma anemia. O azul tinha passado para a camurça. Mas eu não achava graça a essa transfusão de sangue azul.

Vi que tinha que pintar o carro de novo.

Foi então que decidi orientar-me um pouco sobre esta questão dos esmaltes. Um carro pode ser muito bonito, mas, se o esmalte com que está pintado tiver tendências para a emigração, o carro poderá servir, mas a pintura é que não serve. A pintura deve estar pegada, como o cábelo, e não sujeita a uma liberdade repentina, como um chinó. Ora o meu carro tinha um esmalte chinó, que saía quando se empurrava.

Pensei eu: quem será o amigo mais apto a servir-me de empenho para um esmalte respeitável? Lembrei-me que deveria ser o Bastos, lavador de automóveis com uma Caneças de duas portas ñas Avenidas Novas. Ele passa a vida a esfregar automóveis, e deve portanto saber o que vale a pena esfregar.

Procurei-o e disse-lhe: «Bastos amigo, quero pintar o meu carro de gente. Quero pintá-lo de um esmalte que fique lá, com um esmalte fiel e indivorciável. Com que esmalte é que o hei-de pintar?»

«Com BERRYLOID», respondeu o Bastos, «e só uma criatura muito ignorante é que tem a necessidade de me vir aqui magar com uma pergunta a que respondería do mesmo modo o primeiro *chauffeur* que soubesse a diferença entre um automóvel e uma lata de sardinhas».

«Perfeitamente…»

«Com que é que você quer pintar um carro», continuou o Bastos sem me ligar importância, «senão com um esmalte que seja ao mesmo tempo brilhante e permanente? E, ainda por cima, fácil de aplicar… Isto do fácil de aplicar é comigo, mas é uma virtude, e as virtudes citam-se… Vá-se embora!..»

«Bom…», disse eu.

«Isto de esmaltes de nitrocelulose», prosseguiu o Bastos, dando-me um encontrão, «não é um assunto de mercearia a retalho. Tem

uma coisa maçadora a que se chama ciência. Sabe o que é? Mas é maçadora para quem prepara as coisas; para nós, que as recebemos preparadas para as aplicarmos, é um alívio e uma alegría. Este BERRYLOID é produto de longos cuidados feito no primeiro laboratório de tintas, lacas e vernizes. Percebeu? Não é primeiro produto do género que apareceu, porque o ser primeiro está bem se se trata de estar numa bicha, mas não se se trata de tintas ou de coisas que metem estudo e provas. Não: nas tintas e na prática, a última palavra é que é a primeira».

«Meu caro Bastos…», disse eu.

«Só BERRYLOID», respondeu o Bastos, virando-me as costas.

«Eu quería agradecer…», prossegui.

«Traga o carro», disse o Bastos.

Levei-lhe o carro e ele pintou-o a BERRYLOID. E não há camurça, nem chuva, nem poeira da pior estrada, que consiga envergonhar esse esmalte de aço. Sim: o Bastos tratou-me mal, mas tratou bem a verdade. Não há nada como o BERRYLOID.

…Tanto assim que, quando comprei o meu segundo carro, tratei logo de saber se ele vinha já pintado a BERRYLOID. Ele aí está na base da página e no fim da minha história. Passa-se a camurça, mas é preciso usar óculos fumados: o brilho deslumbra. E, o que é mais, deslumbrará, porque dura.

A minha camurça dura eternamente. O que se tem gasto muito são os óculos fumados; e os elogios dos amigos que vêem os meus carros pintados a BERRYLOID.

Um grande português ou A origem do conto do vigário

Vivía, há já não poucos anos, algures num concelho do Ribatejo, um pequeno lavrador, e negociante de gado, chamado Manuel Peres Vigário.

Da sua *qualidade,* como diriam os psicólogos práticos, falará o bastante a circunstância que dá princípio a esta narrativa.

Chegou uma vez ao pé dele certo fabricante ilegal de notas falsas, e disse-lhe: «Senhor Vigário, tenho aqui urnas notazinhas de cem mil réis que me falta passar. O senhor quer? Largo-lhas por vinte mil réis cada uma». «Deixa ver», disse o Vigário; e depois, reparando logo que eram imperfeitíssimas, rejeitou-as: «Para que quero eu isso?», disse; «isso nem a cegos se passa». O outro, porém, insistiu; Vigário cedeu um pouco, regateando; por fim fez-se negócio de vinte notas a dez mil réis cada uma.

Sucedeu que dali a días tinha o Vigário que pagar a uns irmãos, negociantes de gado como ele, a diferença de uma conta, no valor certo de um conto de réis. No primeiro dia da feira, em a qual se deveria efectuar o pagamento, estavam os dois irmãos jantando numa taberna escura da localidade, quando surgiu pela porta, cambaleante de bêbado, o Manuel Peres Vigário. Sentou-se à mesa deles, e pediu vinho. Daí a um tempo, depois de vária conversa, pouco inteligível da sua parte, lembrou que tinha que tinha que pagar-lhes. E, puxando da carteira, perguntou se se importavam de receber tudo em notas de cinquenta mil réis. Eles disseram que não; e, como a carteira nesse momento se entreabrisse, o mais vigilante dos dois chamou, com um olhar rápido, a atenção do irmão para as notas, que se via eram de cem.

Houve então a troca de outro olhar.

O Manuel Peres, com lentidão, contou trémulamente vinte notas, que entregou. Um dos irmãos guardou-as logo, tendo-as visto contar, nem se perdeu em olhar mais para elas. O Vigário continuou a conversar, e, várias vezes, pediu e bebeu mais vinho. Depois, por natural efeito da bebedeira progressiva, disse que queria ter um recibo. Não era uso, mas nenhum dos irmãos fez questão. Ditava ele o recibo, disse, pois queria as coisas todas certas. E ditou o recibo — em recibo de bêbado, redundante e absurdo: de como em tal dia, a tais horas, na taberna de fulano, «estando nós a jantar» (e por ali fora com toda a prolixidade frouxa do bêbado…), tinham eles recebido de Manuel Peres Vigário, do lugar de qualquer coisa, em pagamento de não sei quê, a quantia de um conto de réis em notas de cinquenta mil

réis. O recibo foi datado, foi selado, foi assinado. O Vigário meteu-o na carteira, demorou-se mais um pouco, bebeu ainda mais vinho, e daí a um tempo foi-se embora.

Quando, no próprio dia ou no outro, houve ocasião de se trocar a primeira nota, o que ia a recebê-la devolveu-a logo, por escarradamente falsa, e o mesmo fez à segunda e à terceira… E os irmãos, olhando então verdadeiramente para as notas, viram que nem a cegos se poderiam passar.

Queixaram-se à polícia, e foi chamado o Manuel Peres, que, ouvindo atónito o caso, ergueu as mãos ao céu em graças da bebedeira providencial que o havia colhido no dia do pagamento. Sem isso, disse, talvez, embora inocente, estivesse perdido.

Se não fosse ela, explicou, nem pedida recibo, nem com certeza o pediría como aquele que tinha, e apresentou, assinado pelos dois irmãos, e que provava bem que tinha feito o pagamento em notas de cinquenta mil réis. «E se eu tivesse pago em notas de cem», rematou o Vigário, «nem eu estava tão bêbado que pagasse vinte, como estes senhores dizem que têm, nem muito menos eles, que são homens honrados, mas receberiam». E, como era de justiga, foi mandado em paz.

O caso, porém, não pôde ficar secreto; pouco a pouco se espalhou. E a história do «conto de réis do Manuel Vigário» passou, abreviada em «o conto do Vigário», para a imortalidade quotidiana, esquecida já da sua admirável origem.

Os imperfeitíssimos imitadores, pessoais como políticos, do Mestre ribatejano nunca chegaram, que eu saiba, a qualquer simulacro digno do estratagema exemplar. Por isso é com ternura que relembro o feito deste grande português, e me figuro, em devaneio, que, se há um céu para os hábeis, como constou que o havia para os bons, ali lhe não deve ter faltado o acolhimento dos próprios grandes mestres da Realidade — nem um leve brilho de olhos de Machiavelli ou Guicciardini, nem um sorriso momentáneo de George Savile, Marquês de Halifax.

Maridos

A gente cria o costume e gosta mais por costume que por outra coisa. Que outra coisa é que podia ser. Depois, a gente afeiçoa-se, mas afeiçoa-se já doutra maneira, e são uns filhos grandes que casam connosco.

Outros acham que a gente há-de gostar deles por isto ou por aquilo. Ora! A gente nem sabe porque gosta. Depois de gostar diz que gosta por isto ou por isto ou por aquilo, mas é só depois de gostar. Mas julgam que a gente gosta deles por serem fortes, ou por serem bonitos, ou por terem olhos azuis, ou qualquer coisa assim. É um pouco de tudo isso, senhor juiz, e não é nada disso.

As mulheres sérias a valer têm um ódio doido às putas. Julga o meritíssimo juiz que é por serem sérias? É, mas é por verem de que é que estão privadas por serem sérias. Esta é a verdade —, senhor juiz — e o mais — não faço o gesto por respeito.

Não há mulher nenhuma neste mundo — nem a mais séria, senhor juiz — que não tenha invejado essas que lá andam nas ruas à procura dos homens — nenhuma, senhor juiz, se dissesse a verdade como a pôr o coração ai em cima dessa mesa.

A alma da gente é uma coisa suja e o que vale é que a alma não tem cheiro.

Isto, senhor juiz, e para que Vossa Excelencia saiba, e os senhores jurados, é o que todas as mulheres sentem. Umas nem dão por isso e vão vivendo como os empregados de escritório que dão em velhos sempre a fazer a mesma letra; outras sentem e calam, e vivem só pròs filhos, porque lhes ensinaram a ser sérias — porque a gente aprende a ser séria como aprende a tocar piano; e outras não aguentam, senhor juiz, e rebentam, e no meio disto tudo a gente não sabe o que é melhor ou pior, porque o melhor é a gente não avaliar dos outros, porque eles são outros e a gente não sabe o que vai lá por dentro.

E vem uma vontade de meter a costura pela pia abaixo, e de ir para longe ao menos só para chorar à vontade. A vida, senhor juiz — se o senhor juiz soubesse o que é a vida!

A falta de coragem é o que é o pior ñas mulheres. A gente ainda tem medo dos tempos em que a lei nos batia mais que os homens. Então o senhor juiz julga que uma mulher séria usa saia curta por moda — lá no íntimo da alma déla? É para chamar os homens — mas o que ela não se atreve é a deixá-los chegar. Então há alguma mulher que se decotasse senão para ser apalpada com os olhos?

Tenho, senhor juiz, tenho muitas coisas é a dizer e oxalá o senhor juiz e os senhores jurados se não importem que eu as diga. Porque esta, senhor juiz, é a verdade, e o que eu sinto, e o que toda a gente

sente, se pensar nisso e eu quero dizer isso tudo, senhor juiz, sem tirar nem pôr.

O que faz mal à gente é a imaginação. Se uma mulher não tem imaginação é séria por sua natureza, senhor juiz, séria a valer.

Mas a gente nasce com o coração que recebe, e é com esse que tem que sentir e penar.

Sempre o mesmo homem, senhor juiz — o mesmo homem todos os días, com o mesmo corpo e a mesma maneira! Todas as noites, senhor juiz, e na mesma cama — nem a cama muda ao menos. E aquilo ao fim de tempo já não era viver, nem coisa que se parecesse — era uma coisa entre comer para não ter fome e fazer o serviço da casa… Se os homens soubessem o que custa a aturar! Se soubessem o nojo que a gente tem por eles cá dentro quando está encostada a eles!

E eu, senhor juiz, não tinha outro remédio senão matálo para estar bem com a minha consciência e com a Igreja.

Foi por isto, senhor juiz e senhores jurados que eu matei o meu marido.

Fábulas para as Nações Jovens

O segredo de Roma

Quando César chegou tarde ao fim do campo de……, ergueram rápidos perante ele a cabeça de Pompeu. César abriu em lágrimas, e os que estavam pasmaram. O que erguera a cabeça baixou-a um pouco; estava atónito, e além disso ela pesava, porque ele a erguera a braço largo.

— Assim, que vale uma vitória? — perguntou César.

— É certo — respondeu o que o seguia, pois não sabia que dizer.

E César continuou: «Foi meu amigo, meu companheiro, era romano e soldado…»

E depois disse: «Cheguei tarde…»

O companheiro esboçou um gesto sem nada, e César voltou as costas curvas de dor.

«Cheguei tarde», repetiu. «Quería tê-lo eu matado com minhas mãos».

Moralidade:

Cuidado com as lágrimas, quando são estadistas os que as choram.

O Saraiva ou o Saraiva e as meninas

Havia em tempos, no Porto, um rapaz estudante, vindo das províncias do Norte, chamado Saraiva. Este rapaz tornara-se notável entre os companheiros pela certeza da própria perspicácia e a sua igual certeza de seus talentos de declamador. A cada frase, por simples que fosse, que lhe parecesse envolver uma mentira, tomava a mentira como dirigida inutilmente contra a rocha da sua esperteza; e, levando o indicador direito à pálpebra do olho direito, descia-a, no gesto dos álacres, e dizia ao interlocutor, em aviso e ameaça alegre: «Eu sou o Saraiva!» E o outro ficava sabendo que o não conseguirá enganar. O indicador erguia-se livre.

Esta ciência certa, considerada pelos outros rapazes como ridícula em si mesma, levou-os a combinar, servindose da preocupação que o Saraiva tinha de declamador, uma cena cómica, destinada a, de vez, pôr o Saraiva em salmoura social. Sabendo o horror do ridículo que estava latente naquela constante preocupação de que não era

enganado, combinaram com várias raparigas das suas relações, de boas famílias e condição decentíssima, uma sessão em casa dos pais de umas délas, para a qual convidaram o Saraiva para declamar. E estava combinado que, apresentado o Saraiva e convidado a mostrar seus dotes de declamador, eles fossem, por fim, reconhecidos com uma gargalhada geral. Desta, fixaram bem, o Saraiva se não escaparia, e ficariam pagos de tanta irritação de certeza.

Expuseram ao Saraiva que havia várias senhoras que gostariam de o ouvir declamar, pois lhes constara o que valia na matéria, e com ele estabeleceram que o apresentariam em casa dessas senhoras, podendo ele aparecer em tal noite, e a tais horas.

Grato, o Saraiva acedeu e a combinação ficou feita. Sucede, pórem, que, chegado a casa, comegou a meditar no convite, e, desde logo, a desconfiar dele. «Ali há coisa», pensou o Saraiva. E, sozinho, diante do espelho, levou o indicador direito ao olho direito, no gesto baixante da esperteza, «Mas eu sou o Saraiva!», apontou para si mesmo.

E meditou, «Que diabo será a partida?». Não tardou que descobrisse. Tratava-se de encher uma casa qualquer de uma quantidade de meretrizes dispostas com aparência de senhoras e meninas, e de o convidar (a ele Saraiva!) para ir fazer diante délas o papel de recitador. Conclusão lógica, conclusão natural. E o Saraiva tomou mentalmente as suas precauções.

Chegou a noite, e chegou o Saraiva. E, junto com os vários camaradas, foram dar à casa onde estavam reunidas as senhoras todas que os esperavam. Para entrada e deslumbramento, os apresentantes, aberta súbitamente a porta da sala, que se revelou cheia de senhoras, apresentaram, «Minhas senhoras, o sr. Saraiva!», com o ar de quem apresenta um dos homens célebres do mundo.

Então o Saraiva, álacre, deu um pulo para o meio da sala, e braços abertos, gritante e alegre, bradou para as senhoras todas: Eh, putedo!

E depois, voltando-se a rir para os apresentantes lívidos, inclinou a cabeça e levou à eterna pálpebra direita o eterno indicador direito, «Vocês esqueceram-se que eu sou o Saraiva»…

Moralidade:

Não ser Saraiva.

Na dúvida ser Saraiva, porque aqui o Saraiva foi o parvo e os outros é que ficaram atrapalhados.

Quando uma nação eré firmemente em si mesma, humilha os outros ainda quando se engana e é ridícula. Coisa por cousa, mais vale

ser Saraiva. Porque é preciso não esquecer o resultado prático de tudo isto. As raparigas ficaram insultadas, os rapazes ficaram envergonhados: quem ficou vencedor foi o Saraiva.

Eu, o doutor

Entrei uma tarde numa camisaria de onde gastava, com o fim imaginado de comprar uma gravata. O caixeiro que estava livre de freguês, e que há muito me conhecia, cumprimentou-me alegremente: «Boa tarde, senhor doutor».

«Não sou doutor», disse-lhe, e era a verdade. «Porque é que me julga doutor?»

«Ah, eu realmente julgava…», respondeu ele limpidamente.

Pedi gravatas, escolhi a que preferi, paguei. Nesta altura, o outro caixeiro, que também de há muito me conhecia, veio para ao pé do colega.

«Boa tarde», disse eu para ambos.

Os dois caixeiros inclinaram-se amáveis e sincrónicos, e, como um só, disseram:

«Boa tarde, senhor doutor, e muito obrigado».

Moralidade:

Quando a opinião nos faz doutores, doutores temos que ser. Na vida social, somos o que os outros nos julgam, e não o que até fingidamente somos. A nossa personalidade social, para todos, ou histórica, para os célebres, é uma ideia de nós que nada tem de nós. O estadista que saiba saber isto tem a chave do dominio do mundo. Pode, é claro, faltar-lhe a porta; isso, porém, é já destino.

31/1/1932

O burro e as duas margens

É costume contar-se às crianças, quando começam a estar em idade de começar a ser estúpidas, uma história a propósito de um burro que chega à margem de um rio e não consegue passar para a outra margem.

O rio não tem ponte, o burro não sabe nadar, não há barco que o transporte. O que faz o burro? Depois de algum tempo de pensar, a criança diz que desiste. E então a pessoa adulta, que lhe pôs a adivinha, diz: O mesmo fez o burro. O que devia dizer era: És como o burro, porque assim é que a graça tem graça, se é que a tem.

Mas a história não se passou assim, e foi o burro mesmo que ma contou. O burro chegou à margem do rio, e queria passar para a outra margem. Verificou, efectivamente, e nesse particular a história é verídica como se narra, que (a) não havia ponte, (b) não havia barco, (c) ele, burro, não sabia nadar.

Então o burro pensou: O que faria um homem no meu caso? E, depois de pensar, pensou: Desistia. Pois bem, decidiu: Sou como o homem.

Porque, nesta adivinha, ninguém pensou numa coisa: é que o homem desistia também.

Moralidade:

A política partidária é a arte de dizer a mesma coisa de duas maneiras diferentes. O melhor é dizer em segundo lugar, porque como é o homem que faz a adivinha, adiante vai o burro.

O Soares e o Pereira

O Soares e o Pereira, empregados do mesmo escritório, eram inimigos de alma. Não havia questão de serviço, ainda que rigorosamente não pudesse surgir conflito entre os dois, em que não surgisse conflito entre os dois. E, embora nunca seguissem por aquelas vias chamadas de facto, fervia em pouco tempo a descompostura mútua. De besta para cima e para baixo, todos os arredores de malandro, com passagem por gatuno e grande escala por tudo, encontrarem-se era discordarem, olharem-se era a primeira palavra de se descomporem.

Um dia o Soares, que era o mais inteligente e por isso o mais estúpido dos dois, referindo, fora do escritório, a um amigo as cenas habituais com o Pereira, recebeu desse a pergunta: «Mas porque diabo é que tu não o esmagas com uma coisa pior que todas as piadas?» «Que coisa?», perguntou o Soares; «porrada?». «Não, não digo isso… Melhor que isso: o silêncio… Ele tem mais piada que tu; pois bem, arranja mais desprezo do que ele. Ele insulta mais, e tu olhas para ele e não dizes nada. Ele insulta mais, e tu na mesma. Ele espuma e esbraveja, e tu idem e igualmente zero. Verás que não há piada que ele possa dizer que valha o que tu não dizes. O que tu não dizes pode ser tudo; o que ele diz não pode ser senão o que ele diz, e, se calhar, muitas vezes nem isso é».

O Soares pensou e achou razão, pelo menos provisória, ao conselho. E, ao contrário do que a prudência manda, seguiu-o. Mas, como é costume suceder quando se não segue a prudência, fez bem.

Foi logo no dia seguinte, porque era todos os dias, e o dia seguinte não era feriado. Surgiu um incidente que o Pereira fez o Soares ter feito surgir. E, sob os ouvidos fitantes do outro pessoal, o Pereira começou. Os substantivos do costume uniram-se aos adjectivos da vizinhança, e o carácter, habilitações, possibilidades penais, e outros atributos de um Soares de retórica, fulguraram no discurso. A certa altura, como o Soares não dissesse nada, mas olhasse para o orador com uma atengáo despreocupada e vaga, o Pereira começou a afrouxar. Seguiu a cena, de calado a pasmo, e o Pereira, afrouxando cada vez mais, foi-se tornando lívido. Ao fim de cinco minutos estava quase mudo e com a voz e a expressão do olhar em vésperas de lágrimas. Então engoliu um pouco; e, dirigindo-se ao Soares numa voz trémula, disse: «Ó Soares, você está zangado comigo?»

Si vis bellum, para pacem.

O cristão e o católico

Passeavam um dia juntos um cristáo e um católico. Disse de repente o católico para o seu inimigo: «Meu amigo, creio que estamos de acordo». E o outro não disse nada, porque todas as nações que falaram concordaram em que o silêncio é de ouro.

E então o católico começou:

— Concorda, não é verdade, em que a verdadeira Igreja é aquela que se firma no rochedo de Pedro?

E o outro respondeu: «Não concordo».

— Concorda, não é verdade, em que a verdadeira Igreja é aquela que se firma na mais antiga tradição?

E o outro respondeu: «Não. Não concordo».

— Concorda, não é verdade, em que a verdadeira Igreja é aquela que reúne os místicos e os soldados, os ascetas e os grandes pecadores?

E o outro respondeu: «Não posso concordar».

— Concorda, não é verdade, em que a verdadeira Igreja é a Igreja de Cristo?

E o outro respondeu: «Sim, talvez, não sei se concordo».

— Concorda, não é verdade, em que a verdadeira Igreja é a que quer o bem da humanidade?

E o outro respondeu: «Com reservas, concordo».

— Concorda, não é verdade, em que a verdadeira Igreja é a que for a verdadeira Igreja?

E o outro respondeu: «É claro que concordo».

— Se estamos, pois, de acordo — disse o católico —, vamos jantar juntos.

Assim fizeram, e como o católico não ficou ofendido e doesse ao

cristão a possibilidade de o haver ofendido, foi o católico que comeu com vontade e o cristáo quem, por sua vontade, pagou a conta.

Moralidade:

Esta pergunta, mas da qual — a resposta de Lope de Vega, que se está em 1900.

O papagaio

Havia em um dos arrabaldes de Lisboa um homem chamado Silva. Este Silva casou, já pouco jovem, com uma viúva que tinha uma filha quase mulher. A mulher do Silva passou logo a dominá-lo; e a enteada, à medida que crescia, mais e mais ajudava a mãe no dominio do padrasto.

O Silva passou a ser um trapo humano. Deixou de ter personalidade, vontade e lugar. Em tudo na vida doméstica como na prática, era um servo da vontade da mulher, quando o não era da vontade, por vezes até espontânea, da filha déla.

Como o domínio gera o desprezo, e o desprezo permite tudo, a mulher do Silva, apesar de não ser de espírito leviano, foi levada, pelas circunstáncias, a trair o marido. O amante, que era um indivíduo que fora promovido a primo déla para efeitos decorativos, foi elevado a quase residente na casa, e o Silva que não podia ignorar a sua categoria sexual, tinha que o receber, que lhe sorrir bem e que lhe exprimir, por palavras e modos, o prazer que lhe dava a sua excessiva visita. E assim fazia o Silva.

Mais tarde, conseguiu a mulher do Silva que o amante fosse nomeado por este gerente e mandatário das suas propriedades, dele Silva. E assim seguia e se consumava o domínio do marido, mero animal pagante naquela engrenagem de domesticação.

Ora o Silva tinha um papagaio — ave já velha e nem por isso muito esperta: gritava mais do que falava, e, quando falava, era sempre a mesma coisa. Um dia a mulher do Silva, maçada, muito naturalmente, com o vozear do pássaro, ergueu-lhe o poleiro da escápula sobre o quintal e vendeu-o a um viandante qualquer.

Quando o Silva voltou, à noite, para casa, e lhe faltou, de aí a minutos, a voz rouca da ave, procurou-a na escápula da parede sobre o quintal, não a viu, e foi à casa de jantar perguntar à mulher por ele.

«Vendi-o» disse ela, e enteada ria. O Silva retirou-se como de costume, sem dizer nada.

Foi, porém, ao quarto de cama, tirou o revólver da gaveta da mesa de cabeceira, voltou à casa de jantar e, com dois tiros calmos,

certos e sucessivos, matou a mulher e a enteada.

Moralidade:

Nações imperiais e dominadoras, expansivas, cuidado sempre com o papagaio!

A varina e a lógica

Quando as quatro varinas corriam em losango pela rúa e ao lado, a do avanço, loura e com olhos, deu com o instinto de troça contra o homem moço de barbas de velho que vinha tendo ar de sábio pelo passeio às avessas. E parou, e, instintivamente, os transeuntes pararam. E ela largou a mão de alto, de sobre a canastra, apontou para o homem e disse:

— Olhem para este barbaças.

Toda a paisagem humana riu junta.

O homem mogo de barbas velhas parou à beira do passeio como de um cais, olhou abstracamente a varina, e disse num tom triste:

— Bem se vê que foi tua avó que te pariu!

A varina estacou mais, corou, emudeceu com uns poucos de silêncios, e em torno rebentou, depois de um pouco, uma gargalhada do público já trespassado. Não se distinguía se a gargalhada era da resposta, se da confúsáo muda da varina loura.

O homem moço passou, levou as barbas de velho escondidas pelas costas viradas ao público que o aplaudira. Depois, num café, contou o episódio a um amigo. O amigo ouviu, riu, e depois não pôde rir. Por fim fez um gesto em que a face era envergonhada a medo.

— Você desculpe. Eu serei talvez estúpido, ou estarei estúpido hoje. Mas o que quer isso dizer?

— Não quer dizer nada, respondeu o outro. E aí é que está o golpe.

Moral:

Confundir é vencer.

notes

Примечания

Заметим, что единственная монография о Пессоа, написанная на русском языке, тоже посвящена гетеронимам: Хохлова И. А. Поэтические маски Фернандо Пессоа. СПб, 2003.

2

Перевод осуществлен по версии оригинального текста, размещенного на сайте Arquivo Pessoa (http://arquivopessoa.net/textos/3007).

3

Португальская поэзия XX века / Сост. и предисл. Е. Голубевой. М.: Худож. лит., 1974.

Пессоа Ф. Лирика / Сост. Е. Витковского, предисл. Жасинто до Прадо Коэльо. М.: Худож. лит., 1978.

5

Пессоа Ф. Лирика / Предисл. Е. Ряузовой. М.: Худож. лит., 1989.

6

Пессоа Ф. Послание [Стихи / Пер., предисл. и коммент. О. Овчаренко. М.: Фонд развития отечественного книгоиздания, 1997].

7

Жан Мари Гюйо (1854–1888) — французский философ и поэт.

8

Вещь сотворяется и сохраняет существование (*лат.*).

9

<…> здесь и далее — пропуск в авторской рукописи.

10

«Сказка викария» — это выражение используется в португальском языке для обозначения мошенничества. По легенде, два приходских священника поспорили о том, какому из приходов должна принадлежать икона Богоматери. Было предложено привязать ее к ослу — и та из церквей, в сторону которой он пойдет, выиграет спор. Позже выяснилось, что осел принадлежал одному из священников.

11

Пессоа использует игру слов: «conto» — по-португальски означает «сказка, рассказ» или же «счет» — от которого происходит сленговое значение — «деньги». Исторически «conto de reis» означало «миллион рейсов».

12

«Доктор» в Португалии является обозначением не только врачебной профессии, но вообще образовательного статуса. Так обращаются к людям, имеющим высшее образование.

idem *(лат.)* — то же.

14

«Если хочешь войны — готовься к миру» (*лат.*). Пессоа переставляет слова латинского изречения «Si vis pacem, para bellum» — «Если хочешь мира — готовься к войне».

□ — espaço em branco deixado pelo autor.